

проблески

айрис вольф

Проблески
Айрис Вольф

Аннотация
Айрис Вольф. Проблески
Проблески
  Девять
  Восемь
  Семь
  Шесть
  Пять
  Четыре
  Три
  Два
  Один
Слово благодарности
Выходные данные

Аннотация

Одиннадцатилетний Лев уже несколько недель прикован к постели. Като, умная и немного нелюдимая девочка, навещает его, чтобы передать мальчику домашнее задание. Между подростками возникает незримая связь, которая становится для обоих поддержкой.

Проходят годы. Като покидает Румынию и уезжает на Запад. Льву остаются только воспоминания детства да открытки, которые героиня отправляла ему из разных европейских городов.

Но однажды он получает послание из Цюриха с одной-единственной фразой: «Когда ты приедешь?»

Искусно и поэтично на страницах романа рассказывается история о вечной дружбе и освобождении от гнета собственного происхождения. Трогательное путешествие в прошлое, проблески которого будут согревать сердца героев годы спустя.

Айрис Вольф
Проблески

NoAge

polyandria

2026

Iris Wolff
Lichtungen

Перевела с немецкого *Татьяна Набатникова*
Дизайн обложки *Анны Стефкиной*

Книга издана при поддержке Гёте-Института



© 2024 Klett-Cotta — J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart/Germany

This edition was published by arrangement with Gaeb & Eggers Literary Agency, Berlin

© Набатникова Т. А., перевод на русский язык, 2026

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Поляндрия Ноу Эйдж», 2026

* * *

До боли прекрасная история об идентичности и принадлежности, об отъезде и прибытии, об обязательствах и способности отпускать, и обо всем, что находится между этим.

Uscha Kloke, Botnanger Buchladen

* * *

Проблески

Моей матери и Мейн

Девять

Sas pe thai nas pe[1].

Паром волочил за собой пенистый след. Белая полоса на синей воде еще долго обозначала его путь. Запах дизельного выхлопа, объявления по громкоговорителю, разорванные на куски порывами ветра; ветер был такой сильный, что приходилось нагибаться, рубашки надувались, брюки трепетали, гудело в ушах, в голове, во всем теле. Даже минуты спустя внутри парома этот гул не прекращался, остаточная вибрация, отзвук; и Лев невольно вспомнил, как в самовольно звенящем такте колеблется полотно пилы, затем пол под ногами внезапно затихает, а тонкая пыль из опилок, взмывшая над машиной, опадает — медленно, удивляясь внезапной силе тяготения.

Холодный воздух струился из кондиционера, покалывал костяшки пальцев, трогал бумаги, камешки, ракушки, что скопились у них в карманах, как намытая добыча прибоя. Като укутывалась в шарф, подбирала под себя ноги. Лев вертел в

---

[1] Примечания: 1

То ли было, то ли не было. (*Зачин румынских сказок*.)

руках сосновую шишку, она была с того дерева, в тени которого они обедали. Като набрасывала беглыми штрихами силуэт задремавшей девочки, сидевшей напротив. Она документировала каждый день совместной поездки, фиксировала сцены, которые им приходилось наблюдать или участвовать в них, а иногда и его: мужчину с необычно длинной бородой, читающего в кафе, у газетного киоска, прислонившегося к машине, с автомобильной картой в руках.

Лев пытался поймать ее взгляд, но он метался между девочкой-объектом и альбомом для эскизов. Угольный карандаш зачернял бумагу, пальцы и подушечки ладоней. Она перекидывала листок, начинала снова и снова. В этот момент углубленности мешать ей нельзя.

Под сосной он ей признался, что ему придется вернуться.

Като, казалось, не огорчилась и не удивилась, она среагировала так безразлично, как будто давно уже знала, что его так мучило. Может быть, она и сама хотела в свою привычную рутину, назад в свою жизнь. Вот только: в каком городе, в какой стране? Для него это путешествие было отъездом, а для нее — переходом, возможно даже завершением. И ведь как-никак они обрели друг

друга в этом противонаправленном движении.

Они перебирались с места на место уже шесть недель, из Цюриха в Париж, потом в Нант, Монпелье и дальше вдоль побережья на восток. Иногда расставались, целые дни проводя в разлуке; им не требовалось объяснять свое настроение, внезапную идею. Ведь они слишком хорошо знали друг друга и слишком долго пробыли порознь. Они осматривали города и деревни, совершали пешие вылазки, ходили плавать, когда ближе к осени пляжи пустели, словно и не существовало времени, а было только это бесконечное пространство из улиц, раскинувшееся перед ними. И сначала даже казалось, что он не обманулся — между вчера и завтра имелась лишь тонкая прослойка. Затем появилось больше мыслей о доме, возникло тревожно-тоскливое чувство, зовущее его назад, однако он ничего не сказал, выжидая подходящий момент, который все никак не наступал.

Надо всегда быть готовым к уходу, сказала Като, не отрывая взгляд от своего рисунка.

— Даже если только что пришел?

— Тогда особенно.

Като убрала наброски портрета девочки в папку.

В их странствии она не работала, только в Париже у Лувра написала на улице одну картину. Для всех тех, кто не мог увидеть «Мону Лизу» в оригинале.

За окнами виднелись приближающийся берег, порт, волнорезы, корабли, променады, окаймленные пальмами. И высокие разноцветные стоглазые дома со ставнями. Зажглись фонари, уличные огни покрыли холмы мерцающим светом. Похоже, на суше было ветрено.

Потом все пошло очень быстро.

— Я тоже с тобой, — сказала Като.

Лев, укладывая в сумку бутылку с водой и сосновые шишки, замер. От неожиданности он почти забыл дышать. Като смотрела на него озорно и слегка насмешливо. Пассажиров парома всех разом охватило беспокойство. Люди собирали свои вещи, протискивались к выходам. В киоске загремело опускавшееся рулонное жалюзи. Девочка проснулась, пошла за руку с матерью к лестнице, чиркнув Като улыбкой.

— Мы поедем обратно вместе? — уточнил он, когда они добрались до «Лендровера» на парковке. Столько времени ему понадобилось, чтобы снова обрести дар речи.

Он не хотел быть счастливым прежде време-

ни.

Он не хотел потерять ее еще раз.

— Да, — ответила Като. Одно лишь «да».

Но для него этого пока хватило.

Восемь

Jestem znakiem podrózy.
Nieruchomym[2].

— Извините.

Лев остановился.

На него натыкались, смерили взглядами, все были в движении, спешили, теснились, семеня ногами. Лев включился в этот поток, дал ему увлечь себя в общий проход, к путям, где уже стояли поезда, готовые к отправке, пассажиры терпеливо ждали, погрузившись в себя. В высоком зале он остановился; объявления по громкоговорителю, шаги, голоса, перекатывающиеся чемоданы — все растворялось в непомерной высоте. Потом он обнаружил большие часы, пошел дальше, свернул направо в проход, к питьевому фонтанчику. Уличный гул становился громче; гудки автомобилей, шум моторов, перекатывание, шуршание утихло, люди распределились по площади, наконец-то он мог спокойно остановиться, оглядеться.

---

[2] Примечания: 2

Я есть дорожный знак. Бездвижный. (*Из стихотворения «Дельфин» Адама Загаевского.*)

Перед ним простиралась многополосная дорога, зебра перехода, пятиэтажки; подкатил сине-белый трамвай, Лев держал в руке бумажку с номером маршрута, направлением, названием остановки. Он сравнил линии со своими записями, не определился, еще раз просмотрел все таблички с расписанием. Виднелась еще одна остановка транспорта в сторону города. Чувство облегчения продлилось недолго, у билетного автомата в затылке у него стало жарко, голова пошла кругом при виде множества кнопок, тарифных зон, прорезей для монет, клавиш отмены — сперва надо было то ли бросить монеты, то ли выбрать свой вариант. Он нажимал разные кнопки, кто-то его о чем-то спросил. Лев отступил в сторону, дал расплатиться мужчине, пытался запомнить его действия, но, когда настала его очередь, подошел его трамвай. Люди поднимались в вагон, он размышлял, не войти ли ему тоже, но какой был бы стыд оказаться безбилетником, и его охватило отчаяние, как будто это последний трамвай и он упустил свой шанс.

Трамвай, высекая искры на рельсах, уехал. Лев остался на месте, отложил свою дорожную сумку, вертел в руках записку, словно мог прочитать что-то еще. Женщина с длинными, до пояса, ры-

жими волосами заплетала их в косу, мужчина на скамейке смотрел на нее раскрыв рот. Голуби вспорхнули, перелетели с одной стороны улицы на другую, уселись в ряд на карнизе здания. Что-то их снова спугнуло. Они были темно-серые, с белыми грудками.

Лев провожал их взглядом, следил за извивами их полета.

Из света в темноту. Из темноты к свету.

Что-то заставило его оглянуться. Может, она уже давно наблюдала за ним; может, не знала, как с ним заговорить, хотела какое-то время побыть незамеченной — он бы так и сделал. Стоял бы, не произнося ни слова, и смотрел бы на нее: на ее светлые глаза, на ряд из трех родинок у нее на щеке, на ее вызывающий, высокомерно-отстраненный взгляд.

В этой игре она всегда побеждала. Дольше всех выдерживала взгляд, не размыкала объятие первой, а делала это благодаря легкому порыву, тому едва уловимому разъединению, которое приводило к тому, что два тела отделялись друг от друга. Лев не располагал достаточным временем для такого первоначального прощупывания, он рассматривал черты ее лица, ее осанку, подмечал перемены и то, что оставалось прежним; оше-

ломленный масштабом своей радости, волнения, с облегчением обнаружил, что прежней горечи и след простыл.

Она была в джинсах, кроссовках и зеленой рубашке, без куртки, хотя вечер выдался прохладным. На плече у нее висела большая сумка. Кажется, она похудела, но стала мускулистее, насколько он мог догадаться; волосы доставали до плеч, все еще не определившись, стать ли им волнистыми или прямыми. Он смотрел на ее руки, на острые косточки запястий, на остатки краски под ногтями.

Что-то как всегда, а что-то — новое.

— Что ты здесь делаешь?

— Предчувствие, — ответила Като.

Она купила ему в билетном автомате проездной на неделю. Когда они проехали на трамвае (Като называла его «трам») несколько остановок, ему показалось, что улицы с их высокими ухоженными зданиями, магазинами и кафе длятся без конца. Он даже испугался, боясь заблудиться, потеряться, он замечал только ее; ее голос, непосредственную близость, естественность, с которой она говорила по-немецки; и хотя в поезде у него было достаточно времени, чтобы представить себе этот момент, который все-таки

ускользнул от него, — он не понимал, каково снова увидеть ее через пять лет.

Като проводила его к пансиону, заплатила за неделю вперед, хотя Лев отказывался (ей это удалось сделать, потому что в мгновение ока она заговорщически сблизилась с дежурной за стойкой), и Лев решил не пересчитывать франки в леях, это было бы слишком удручающе. Он погладил древесину, подумав: клен, ощупал закругленные края. Дежурная сообщила ему, когда завтрак, во сколько до отъезда надо сдать комнату для уборки, время работы ресепшен, все это медленно, будто он плохо соображал, и между делом раздавила моль, которая уселась на стойку.

Като спросила, не поужинать ли им вместе, но он отговорился, сославшись на усталость. На прощание они обнялись, первым из объятий высвободился он.

Его комната располагалась на третьем этаже. Он открыл дверцы шкафа, заглянул в выдвижные ящики стола, проверил матрац, включил и снова выключил свет, вышел на балкон. Потом разобрал свою сумку, долго принимал душ и лег в постель.

По потолку комнаты пробегал свет фар. Через открытое окно слышался треск трамвайных дуг,

на соседнем балконе разговаривала какая-то парочка. Город был ему чужой — в своей протяженности, упорядоченности, размерности, и он пытался успокоить себя мыслью, что повсюду действуют одинаковые законы. Есть время, сказал он себе, есть язык, понятный и тебе тоже, и никто не вышвырнет тебя только потому, что ты не один из них. Тем более — и это вызвало его улыбку — у него проездной билет на неделю.

Из каждой страны, через которую проезжали Като с Томом, она присылала ему открытки, ее наклонный почерк заполнял всю оборотную сторону; дойдя до самого низа, она исписывала края, и он вращал открытку по часовой стрелке раз и другой, пока не доходил до подписи. Иногда открытки приходили без текста: теснины улиц, фигуры фонтанов, цветы, деревья, то и дело портретные студии. Потом — месяц назад — открытка с одним предложением: «Когда ты приедешь?»

Всего три слова и вопросительный знак.

Он перечитывал их снова и снова. Вызревало ли это некоторое время или было написано под воздействием минутного импульса? Имела ли она в виду близкое или неопределенное будущее? Подразумевало ли написанное, что она тоскует по нему или нуждается в нем? Означало ли «при-

едешь» навестить или остаться? Или имелось в виду лишь то, когда что-нибудь говоришь, стремясь найти прибежище в некоем чувстве?

Когда они созвонились, чтобы обсудить место и время, оказался неподходящий момент для расспросов. Поскольку они никогда не говорили друг с другом по телефону, разговор ограничился обменом сухой информацией. Под конец он ждал, когда она повесит трубку, но щелчка не услышал и представил, как она стоит в застоявшемся, теплом воздухе телефонной будки, держит трубку возле уха, припав головой к стеклу, прислушивается, не положил ли трубку он, — и тогда действительно так и сделал.

В полутора тысячах километров к востоку стояло сухое и пыльное лето. Здесь хотя бы море давало городу сносную прохладу. Парадная площадь была тенистой и оживленной. Лев ориентировался по карте города, снабженной пометками Като, держался левее и вышел к кафедральному собору. Кто-то играл на аккордеоне, из антикварного магазина выносили стол, Лев придержал дверь, которую один из грузчиков подтолкнул своей спиной, потом направился дальше в сторону реки.

Шорох воды, колокол, шаги. Голос Като.

Голос, который всегда оказывался ниже, чем ожидалось.

Она расположилась на мосту; холст, ящик с красками, отдельные мелки разбросаны по тротуару. Он лишь бегло взглянул на картину на асфальте — она была впечатляющих размеров и детализации; другое казалось ему в этот момент куда важнее. Ее руки в красках разных цветов, ее фигура — на корточках, лицом к картине, но все же как бы выпрямившаяся; эта увлеченность, отдача, сосредоточенное самозабвение появлялись у нее, когда она рисовала, всегда, с самого начала.

За все, что бросали ей в коробку, она благодарила.

Он бы и дальше продолжал смотреть на нее, но она его заметила. Сосредоточенное выражение исчезло, уступив место улыбке, удивленной улыбке, рожденной неожиданностью его появления здесь. Она встала, вытерла ладони о брюки, и он, недолго раздумывая, обнял ее. От ее кожи исходило тепло и какой-то неизвестный ему запах.

У перил моста стоял «троллей», чемодан на колесиках, в котором она каждый день привозила к месту действия свои рисовальные принадлежности. Вчера она ему рассказывала, что больше

не рисует прямо на асфальте, а расстилает холсты, на которые уже нанесен рисунок. Прохожие жертвуют, только когда появляется краска.

Лев на некотором отдалении прислонился к парапету. Пожилая женщина в светлом летнем пальто остановилась, и они беседовали так, будто продолжили свой недавний разговор. К обеду какой-то мужчина в костюме и галстуке дал ей бутерброд. Като явно знала тех, кто работал поблизости и проводил свой обеденный перерыв у реки, детей, идущих из школы домой, бездомных, которые ночевали в парках. Она сказала, что предпочла бы слушать музыку, но нужно быть расположенной к беседе, разговоры — часть ее работы. Она зарабатывала своим уличным искусством — да так, что открыла счет в банке и уже кое-что отложила. Иногда ей заказывали написать портрет или какой-нибудь ресторан предлагал оформить интерьеры. Она работала каждый день. Только когда шел дождь, ходила по музеям, чтобы найти новые изображения, которые ей хотелось бы нарисовать.

Като прислонилась к парапету рядом с ним, протянула ему половину бутерброда.

— Ты всегда здесь рисуешь? — спросил он.

Это не от нее зависит, какое место ей доста-

нется, объяснила Като, разрешение приходится получать еженедельно, если не ежедневно.

— Но у меня, скажем так, хорошие отношения с дамой в администрации, которая выдает разрешения.

— И с прохожими, — дополнил он.

Тут живешь на виду, как в витрине, сказала Като. Зато это самая большая галерея, какую только можно себе представить. Бывают дни, когда до рисования дело почти не доходит из-за бесед с людьми, которым надо выговориться, изложить историю своей жизни. Кто-то предлагает ей воспользоваться их ванной, постирать вещи, иной, наоборот, гонит ее отсюда. Она ведь странница, которую сюда прибило, и другие вовсе не обязаны или просто не хотят ее принимать.

Через несколько часов, которые Лев провел, наблюдая за ней, он стал понимать, что она имела в виду. Люди спешили на работу, за покупками, встречались в парках и кафе, в то время как за фасадами их домов и магазинов, на улицах их города расположился тот неведомый мир, сотканный из людей, которые пробыли там какое-то время, а потом, без всякого объявления или объяснения, исчезли.

Во второй половине дня он пошел прогуляться,

чтобы телом ощутить топографию города, чего не происходит, когда едешь на машине или на трамвае. Это был город воды, парковых пристанищ, скамеек и великолепных домов, город, который был новым, неописуемым, где ни один уголок не связан с воспоминаниями. И все же многое здесь ему подходило.

Он зашел в супермаркет, побродил по рядам, все продукты предлагались в дюжине вариантов на выбор, он не торопился с решением, рассматривал, потом снова возвращал на место, находя вариант подешевле. Ему не нравились эти огромные, функционально устроенные торговые залы, теперь они появились и в его стране, и люди носились по ним с наигранной естественностью, которая стирала с них печать дефицита прежних времен.

Здесь на каждом углу ощущался переизбыток жизни, магазинов, кафе и ресторанов, где люди встречались, чтобы поговорить, выпить кофе, отгородиться от скуки. Он положился на пульс, протяженность города, однако всякий раз, когда ему приходилось говорить, слова тяжелели на языке и едва ворочались у него во рту. Его происхождение сквозило в его акценте, проступало в его одежде и обуви.

Какое-то семейство стояло перед кафе-мороженым, явно туристы; две девочки с безучастно скучающими взглядами. Льву была знакома эта надменность, которая возникала лишь потому, что ты молод.

Кто-то забыл на скамейке книгу.

Одна женщина расплакалась, и никто не спешил ее утешить.

Набежали тучи, потемнело.

В этой хмари легче было преодолеть разрыв между своей принадлежностью этому городу и чуждостью ему, между воспоминанием и забвением.

За ужином Като сообщила, что она не знает, как будет жить дальше после этого лета. Она любила странствовать, но также жаждала нового вызова. Привыкаешь к определенному месту, обзаводишься друзьями, неотвратимо отказываешься от чего-то в прошлом. И тут она смолкла — возможно, до нее дошло, что все это касалось и Льва: оставить и его.

— Где тебе было лучше всего?

— В Риме, — ответила она. — Весь город просто взывал к рисованию. И здесь. Мне нравится даль и прозрачность. Город меня поддерживает, дает мне чувство надежности. — Она посмотрела

на него, как будто эта фраза еще звучала в ее мыслях.

Ей было трудно, особенно поначалу. Через несколько месяцев она сменила велосипед, доставшийся от Сиги, на новый, полегче. «Только не говори ему», — написала она тогда, и Лев исполнил просьбу, так что Сиги и по сей день рассказывал, что она разъезжает по миру на его велосипеде.

Лев знал, что она и Том в зимние месяцы делали перерыв; что в Словении Като разносила рекламные проспекты, в Италии работала официанткой, в Германии — в универмаге; узнал, когда они купили машину, потому что больше не хотели спать в палатке, поскольку, несмотря на все усилия, пожитков становилось все больше, и уже почти в каждой стране они оставляли у знакомых на хранение коробку с вещами. Като сказала, что им пришлось многому научиться: как обходиться в дороге при нехватке денег, где помыться и что любезность держит других на дистанции.

Она хотела все знать: как дела у его матери, у его братьев и сестры, что нового у ее друзей Имре и Милены, как он съездил к своему деду в Вену. Лев старался поддерживать непринужденный

тон и спрашивал себя, почему они обходят стороной некоторые темы, почему она ничего не говорит про Тома, почему она не сказала ему, что означали те три слова.

Он перечислял новости на лесопилке: что его самый старший брат сейчас занимает высокое положение в церкви, а другой старший брат живет со своей семьей в Клаузенбурге, что его сестра хочет развестись с мужем и чем занимаются его племянники и племянницы. Он рассказывал про свадьбу Имре и Милены, про мост, который обрушился и до сих пор не восстановлен, про магазин, который теперь есть в деревне.

Что-то его сердило в том, как Като реагировала на эти новости — снисходительно, даже высокомерно. А ведь ничего-то она не знала, судила мир, о котором он рассказывал, по своим воспоминаниям, будто с тех пор ничего не изменилось, словно их деревня оставалась в стеклянном шаре со снегопадом, где время от времени снег взвивается вверх от встряхивания, а больше ничего и не происходит.

Но все было не так, все стало другим.

Стекла теперь нет.

По дороге в Цюрих Лев ненадолго останавливался у своего деда. Ферри жил со своей женой в

Вене, в Четвертом районе. Кафе «Золотое яйцо» служило ему и кабинетом, и жильем, там он ел, читал газету, играл в шахматы, там познакомился со своей женой Кристой. И в свои почти восемьдесят Ферри был привлекательным мужчиной, он носил длинные, до плеч, волосы, курил сигареты с мундштуком, а когда говорил, его высокомерие представало иногда как воодушевление, а иногда как заносчивость.

Криста встречала Льва на вокзале.

Он спросил, как она его узнала.

— Ты на него похож, — ответила она, но он сомневался. С его веснушками и рыжеватыми волосами он не имел сходства ни с кем из своей семьи.

Его румынская бабушка всегда утверждала, что Лев похож на своего умершего отца, Ферри же гнул собственную линию, но Льву никогда не нравилось их желание завладеть им. Он не хотел, чтобы его причисляли к немцам или румынам. Некоторые ставят между теми и другими дефис, но это казалось ему неуместным для его семейных отношений. У него была саксонско-трансильванская мать и румынский отец; его дед заявлял о своих австрийских предках. Лев, смесь всего этого, не чувствовал себя обязанным

относить себя к чему-либо одному.

Ферри сидел на зеленом пуфике у окна, в белой рубашке и серой клетчатой жилетке. Он отложил газету в сторону и смотрел на него, словно не понимая, кто перед ним стоит. И только когда оповестил, не вставая из-за мраморного стола, всех посетителей кафе, что Лев его внук, стало ясно, что дед растерялся от радости снова видеть его.

Он с удовольствием покажет ему Вену, сказал Ферри за десертом — это были пирожные с кремом и кофе со взбитыми сливками; собор Святого Стефана, Нашмаркт, Хофбург, «Вестенд» и «Прюккель» — всякие кафе, магазины, музеи, людей.

Неужели и в Вене встречались те четыре типа, на которые его дед с незапамятных пор делил людей? По мнению Ферри, есть лишь святые и безумцы, умные люди и идиоты. К сожалению, безумец становился все более нормальным, а идиот все более приличным, так что уже с трудом можно было различить, кто есть кто.

В следующий раз он останется подольше, пообещал Лев. Ему так хотелось, но он осознавал, как недостоверно это прозвучало. Он уже давно мог бы перебраться в Вену, однако что-то от замкнутости Ферри, от его дистанцированности

с годами передалось и ему самому. После революции Ферри приезжал в гости всего два раза, один раз вскоре после открытия границ, чтобы забрать свои вещи, которые оставил у дочери, а потом еще летом, чтобы показать Кристе, где он родился. Ферри не мог понять, почему его дочь Лиз не эмигрировала, почему вообще немцы оставались в Румынии после десятков лет запрета на выезд. Ферри полагал, что их время исчерпано — от нации к национальному меньшинству и к… да, к чему?

— Но ты же все-таки приехал, разве нет?

— Какое там, — сказал Ферри, покосившись на свою жену. — Кто однажды ушел, тот навсегда в пути.

Вечер они завершили портвейном на балконе, на том крохотном выступе, на который можно было выйти из кухни; хотя здесь «выйти» звучало бы сильным преувеличением, задние ножки стула оставались в комнате. Криста откланялась перед сном. Еще какое-то время ее шаги слышались в квартире, потом стало тихо. Ферри молча курил, задрав ноги на перила балкона. Лев сделал то же самое.

— У тебя все хорошо? — Ферри помедлил и кивнул в сторону перил: — Как поживают твои

ноги?

Лев закрыл глаза, прислушиваясь к звукам на заднем дворе. Через открытую балконную дверь и окна проникали звон посуды и приглушенные голоса.

— У них всё по расписанию.

Он умолчал, что его ноги все еще немели, как только возвращалось воспоминание о том несчастном случае.

— Я никогда не винил тебя, — сказал Лев. Неизвестно, откуда возникли эти слова; наверное, давно ждали своего времени и теперь настал момент, когда он смог их произнести, должен был озвучить, он достаточно долго утаивал их от деда. Лев разом почувствовал облегчение. За этим скрывалось что-то еще, подозрение, согласие, но к этому чувству он еще не подошел тогда.

— А твоя мать винила, — сказал Ферри. — Она меня так и не простила. Кажется, я много что делал неправильно. Оставил вас. Да и не очень хорошо заботился о тебе. Никогда не понимал, что она нашла в твоем отце.

Ферри всегда подыскивал причину дистанцироваться от них, но теперь Лев не хотел его в этом упрекать. Он не мог рассмотреть сейчас его лицо, поскольку было слишком темно, да и сидел в

полоборота, но ему хватало и звука голоса.

Желание перекроить прошлое увело бы в никуда, сказал Лев. Иначе бы он, вероятно, не находился здесь. На этом крохотном, размером с коврик, балконе в Вене, рядом с ним. На пути к Като.

И так как дед ничего на это не сказал, он взял его за руку.

Когда Лев пришел к месту уличной торговли Като, полдень еще не наступил. Заметив его, она поднялась, улыбаясь, и он подумал, что разлука вознаграждена уже одним этим: радостью на ее лице.

Он снова прислонился к парапету и смотрел, как она работает. На сей раз он разглядывал возникающую картину. Като сначала наносила сетку для пропорций, набрасывала эскиз и только потом добавляла цвет. Рядом с ней лежала фотография оригинала, Венера Боттичелли; выходящая из раковины, с длинными рыжими волосами, стройной шеей и склоненной головой, с твердыми круглыми грудками. Истолковать выражение лица богини Лев не мог — самоуглубленное, хотя, возможно, и исполненное чаяния.

Като сидела перед холстом на корточках, и он поневоле вспомнил ту девочку, какой он ее знал

когда-то, в поношенной одежде, с тем умным, высокомерным, немного затравленным взглядом. Вспомнил, как она проводила вечера на качелях в саду, как рисовала на переменах, с явным старанием, не рассеянно, ему и поныне было стыдно, что оставлял ее тогда одну.

Она была в спецовке, как сама ее называла: джинсы, майка или пуловер, иногда комбинезон, так реже приходилось стирать. С годами у нее установился ее распорядок, она могла организовать себя, инстинктивно ощущала, где удачное место. Им оказывались улицы, по которым проходило много людей, с широким, чистым тротуаром и светом. (Лев полагал, что здесь все улицы чистые и хорошо освещенные, он еще никогда не видел таких чистых улиц.) Вначале требовалось получить официальное разрешение на место, а также поддерживать добрые отношения с людьми: хозяйками магазинов, пасторами, таксистами, мороженщицами, дворниками, со всеми теми, кто обладал некой властью на площадке, но ими могли быть вовсе не те, о ком думалось вначале.

Като работала сосредоточенно, поднимала голову, только если кто-то давал деньги. Лев раздумывал, не определяло ли отчасти такое краткое

взаимодействие ее успех; даже по прошествии времени ее искусство не ценилось как само собой разумеющееся. Люди останавливались, некоторые на мгновение, другие — подобно одной пожилой даме в летнем пальто — приходили каждый день, чтобы посмотреть, как продвигается картина. Собака сорвалась с поводка и уселась на ту женщину, которая подавала Венере накидку. Като засмеялась, владелец собаки бросил ей в коробку купюру.

По ее словам, она рисует с надеждой, что зрители останутся по другую сторону. Недостаточно просто смотреть сверху, совмещать линии и краски, оценивать, хорошо это или плохо, нравится или нет. Все понимаешь правильно, говорила Като, только если смотришь на мир глазами персонажа.

Лев присматривал за картиной, пока Като ходила в туалет (раньше это было задачей Тома), приносил кофе, чего-нибудь поесть. И пока солнце странствовало над площадью, а лодки проплывали мимо, мир являл собой покой и красоту, которая, если на какое-то время замереть, раскрывалась в самой деловитости города.

Вечером они шли на прибрежную лужайку, прихватив с собой «троллей» и деньги, которые

Като получала за день. Пересчитывать их прилюдно она не хотела. Когда в коробку попадали крупные купюры, Като забирала их сразу. За последние годы ее не раз обворовывали.

По дороге он заметил на площади высокий кедр и сунул себе в карман его шишку. В павильоне поблизости несколько пар танцевали под музыку из кассетного магнитофона. Два мальчика проехали на скейтбордах так близко мимо них, что Лев даже отпрянул. В киоске они купили чипсы и пиво, на сей раз платил он.

— Но ты же как-никак мой гость, — упрекнула Като.

По его представлению, он пока что лишь зритель.

Краски озера ошеломляли его, четкость Альп в летний вечер. Озеро отражало краски неба, но разве могло быть так, что здешнее небо совсем другое, чем в Марамуреше? У яхтенного причала, где Като расстелила на траве покрывало, он открыл ее ящик с красками.

Ультрамарин, слишком темный.

Бирюзовый, подходящий.

Сине-зеленый, смешанный.

Цвет озера меняется каждый день, сказала она и откупорила зажигалкой две бутылки пива.

Людей на лугу прибывало, кто-то пришел один, появлялись и пары, у кого-то обязательно имелась гитара. Одни плавали, другие арендовали лодку, третьи выгуливали собак. После еще одной бутылки пива Льву понадобилось в туалет. Като объяснила ему, где общественный клозет. И велела ему не удивляться, что там горит синий свет: это специально, чтобы наркоманы не могли найти у себя вены. Когда он вернулся, она лежала, вытянувшись на покрывале, и курила самокрутку со странным запахом.

Вызывающая улыбка играла на ее губах. Она делала затяжку, задерживала дым в легких и потом медленно выдувала его. Она протянула ему сигарету, повернув ее фильтром, свернутым из плотной бумаги. И наблюдала, как он делает затяжку; сказала, что надо иначе, вдыхать вместе с воздухом, а потом поинтересовалась, догадался ли он, что курит. Лев отрицательно помотал головой, затянулся. И тут до него дошло.

Он еще никогда не пробовал травку.

Решил, что сейчас как раз подходящий вечер для первого раза.

Като свистнула, сунув в рот два пальца — большой и указательный.

Какая-то женщина обернулась.

— Значит, ты Лев, — сказала она и подсела к ним.

Он не знал, как истолковать ее слова: то ли «я о тебе уже наслышана», то ли «ты выглядишь иначе, чем я себе представляла», оба варианта возможны. Варе — он пока узнал только ее имя, поскольку та болтала с Като (вопрос за вопросом, тема за темой), — было больше тридцати пяти; говорила она с легким акцентом и в беседе, задумавшись, притрагивалась к локтю Като; короткий жест перестраховки, доверительный, словно так преодолевалась неуверенность.

— Я тоже однажды была в Румынии, — сказала Варя, обернувшись к нему. — В Бухаресте, на конгрессе.

Лев спросил ее о впечатлениях, и она рассказала, что ей понравилась архитектура города, одновременное присутствие истории, упадка и модерна. А в людях она отметила бы тонкую иронию, юмор, гостеприимство. Ей нравилась эта деликатность, сдержанность, но порой это досаждало. Хотелось прийти к какой-то точке. Ей бросилось в глаза, что прохожие едва замечают друг друга в общественном пространстве, и даже официанты в кафе обслуживают посетителей, подчеркнуто не проявляя к ним никакого ин-

тереса. Иногда просто невозможно посмотреть кому-то прямо в глаза.

Это не «невозможно», а невежливо, вставил Лев.

Варя засмеялась. Лев вполне мог себе представить, сколь противоречивыми оказались впечатления Вари. Еще во время разговора в поезде ему пришла в голову мысль, что все путешественники — в некотором смысле представители своей страны. Но разве отдельные люди с их личным опытом отвечают за всех в целом? Валахия отличалась от Баната или Буковины, Трансильвания не такая, как Марамуреш, — и поэтому он ограничился сказанным, к тому же во рту у него пересохло.

У Вари был с собой виноград, она помыла его водой из питьевого фонтанчика; такие располагались в городе повсюду.

Лев и Като взяли ягоды, почти в один голос сказали «спасибо».

Благодарить за еду, всегда благодарить, — это тоже характерно для всей Юго-Восточной Европы.

Дрозд сел на лодочную мачту в озерной дымке. Порывистые движения выдавали его удивление, недоумение. Клюв светился оранжевым, как и

ободок вокруг глаз. Он балансировал на мачте, когда сменял угол зрения, подпрыгивал вверх, как акробат.

Теперь они сидели лицом к озеру, Като посередине. Подумала ли она тоже о Камиле? Любой дрозд напоминал о нем, о его любви к этим птицам, о его исчезновении. После того как Камиль пропал, Като перестала рисовать. Она уничтожила картины, относящиеся к тому времени, и всякий раз, приходя к ней, Лев тайком утаскивал какую-нибудь из них. До этого его не заботило ее искусство, но после исчезновения Камиля он почувствовал себя ответственным за нее. Спасал картины с птицами, ранние наброски пейзажей, первые опыты в цвете, которые уже тогда представлялись ему превосходными, — однако, что бы он ни говорил, как бы ни ободрял ее, она больше не притрагивалась к краскам.

Он вспомнил ту открытку из Будапешта, сцену в кафе, совершенно реалистичную и одновременно смазанную, что он почувствовал в каждой линии ее волнение, так ему показалось. Была весна, Том и Като уже полгода как путешествовали, их сбережения иссякли, в иные дни они, по ее собственному признанию, питались только макаронами или рисом. Като снова начала рисовать;

она рисовала на площади Героев, на Рыбацком бастионе, и прохожие бросали ей деньги как пожертвование на картину.

Пой, подумал Лев, пой — и дрозд на лодочной мачте, будто услышав его (что-то в этой идее показалось ему убедительным), завел свою песню. Он затянул ее между лодками и домами, соизмеряясь с пространством, и, по обыкновению, все остальные звуки смолкли, будто кто-то повернул выключатель, чтобы обеспечить дрозду больше внимания. Все, что не составляло его пения, ушло прочь. А все, что осталось, включилось в него.

Лев слушал, смотрел на фонтаны и на покачивание лодок, на Като и Варю, которые общались как старые знакомые; он чувствовал легкость, взлетающее изнутри чувство, покалывание в ногах и кончиках пальцев. Каждое мгновение, думал Лев, содержит в себе все бывшее, но одновременно служит новым началом.

На следующий день Като повела его с собой к своему «лендроверу».

Когда они подходили к машине, она ускорила шаг, потом открыла заднюю дверцу с водительской стороны и воскликнула:

— Вот мой дом!

Она перечислила технические характеристики

машины, чтобы не было сомнения, какой у нее крутой внедорожник: полноприводный, шестицилиндровый бензиновый двигатель; хотя и повидавший виды, но на нем можно уверенно ездить, он впишется в поворот даже на третьей передаче со скоростью в тридцать километров в час. Правда, вот расход бензина безумный.

Лев понимающе кивал, фары кремово-белого «лендровера» были закрыты решеткой, а запаска крепилась сзади. Дополнительно смонтированный на крыше багажник тянулся на всю длину автомобиля. И хотя внутрь можно было попасть только пригнувшись и требовалось время, пока салон проветрится через открытые дверцы от нагретого воздуха, но там имелось все: кровать, горелка, кастрюли и посуда, ящички, которые могли служить хоть столом, хоть сиденьем; на них лежали рисунки и чистая бумага.

Рисунки отличались от тех, которые она делала в городе: пейзажи, растения, натюрморты, портреты. Наклон и длина штрихов были узнаваемы: по их мощи и спонтанности. Казалось, они только что нанесены и будут прорисовываться дальше, потому что глаз восполнял недовершенное. Он знал, как много для нее значит живопись. В ней изначально жила эта тихая одержимость,

которая временами тревожила его. Глядя на ее картины, он думал, что это и есть сама реальность; женщина в автобусе, крылышко цикады, травинки, которые хотели быть замеченными, запечатленными и обрести таким образом спасение в другой жизни, в другом времени.

Пока Като готовила чай, он сел на матрац и разглядывал ее библиотеку на краю кровати: книги Харпер Ли, Лучиана Благи, лирика Р. С. Томаса, Нелли Закс, Норы Юги, Адама Загаевского, альбомы Яна Вермеера, Энди Уорхола, Берты Моризо.

Като сказала, что как раз изучает Вермеера. Как ему удается, высказываясь лишь намеками, сделать событие живым? Другие художники его времени работали тонкими штрихами, Вермеер же избегал линий.

— Вот здесь, например. — Она раскрыла альбом на определенной странице. — Он выводит тонкую светящуюся лазурь кожи на темный фон, за край, из-за этого лицо женщины слегка размытое, прозрачное.

— Раньше у тебя в доме не было книг, — заметил Лев.

— Давай избегать фраз, которые начинаются со слова «раньше».

И хотя эти слова его укололи, он признал ее

правоту.

Было некое «раньше», в котором они знали друг о друге почти все, а с тем, что существовало теперь, приходилось мириться. Одно это давалось тяжело.

— Сколько продлится твой отпуск? — спросила Като.

— Сколько захочу.

Она размешивала и размешивала сахар в своем чае, хотя он уже, скорее всего, растворился.

Лев вспомнил, как спросил у Имре, можно ли ему взять несколько свободных недель, чтобы поехать к Като. Его шеф и друг слегка помедлил с ответом, и Лев уже боялся, что выбрал неподходящее время, но Имре только и сказал:

— А я уж думал, ты никогда не спросишь.

В стеклах автомобиля торчали фотографии и открытки: Като и Том со своими велосипедами на перевале, Като в длинном, до пола, платье на празднике, снимок Като с ним самим в их совместной поездке на Черное море. Он едва мог поверить, что она все эти годы хранила фото. На снимке он и Като выжидательно смотрят в камеру, их фотографировала попутчица по купе, женщина из Дрездена. Какие они были юные. Какие зажатые. Он стыдился свой прически, своих

честолюбивых надежд, недостатка мужества. Та поездка стала первым прорывом. Он уже давно понимал, что Като хочет уехать; но игнорировал ее намеки, уговаривал себя, что никуда она не денется.

Он увидел и другие фотографии, осознав, что она не могла говорить о своих воспоминаниях по-другому, что мир, который она покинула, не изменился, и она искала подтверждение тому, что все это действительно когда-то существовало.

Лев сунул руку в карман брюк и подал ей ключ.

Невероятно, на ее лице отразилось замешательство.

— Он мне не нужен, — сказала Като и все-таки взяла его.

Как она и говорила, он никогда не заберет его назад.

Он достаточно долго носил его с собой.

Като нарезала хлеб и сыр. Открыла баночку закуски, которую его мать передала с ним специально для нее, выложила в розетку оливки и инжир. Ключ тоже очутился на подносе, будто часть столовых приборов. Крыша машины с ее багажником представляла собой передвижную

террасу площадью в четыре квадратных метра. Город давал о себе знать отдаленным аккордом, гулом уличной суеты. Небо, пока еще голубое, исходило к горизонту в оранжевую линию.

Наступила пора спросить ее про Тома.

— Он остался во Фрайбурге, — ответила она на удивление деловито. — Мы жили там почти год и хотели потом поехать во Францию (наконец-то Париж!), но он уже пресытился путешествиями. Захотел открыть велосипедный магазин.

По ее словам, поначалу она не придала значения его заявлению. А потом удивлялась, как же ей удалось так долго отодвигать неотвратимое. Словно можно сдерживать то, что давно решено. Разлука оказалась непростой, Том оставил ей только машину, и она поехала дальше, в Швейцарию, и вот уже три месяца здесь.

Лев смотрел вместе с ней на огни города, только там, где предполагалось озеро, царила чернота. Точно дыра, подумал он, которая все поглощает.

Като взяла ключ и повертела им, будто не понимала его назначение. Она рассказала, что во Фрайбурге начала преподавать. Представители одного культурного объединения заговорили с ней на улице, и она согласилась. Первоначально состоялся курс во время каникул, потом она раз

в неделю вела занятия по стрит-арту для подростков.

— Думаю, это как раз то, что мне хотелось бы делать: преподавать.

Лев чуть не подавился оливкой. Он всегда об этом знал — еще когда классная руководительница дала ей поручение заниматься с ним, лежачим больным. Вслух он такое не сказал бы, но, вероятно, его выдала улыбка, осветившая лицо. Он хотел бы узнать об этом побольше, но Като сменила тему и спросила, появилась ли в его жизни какая-нибудь женщина. Поинтересовалась как бы мимоходом, но он знал ее достаточно хорошо и понимал, что этот вопрос не давал ей покоя с первого момента их встречи.

— Больше нет, — сказал он.

— А как… как ее звали?

— Маринела.

Стоило произнести имя, привычное созвучие из четырех слогов, как она сразу явилась ему со всей своей чуткостью, честностью и серьезностью. Ему понадобилось время, чтобы преодолеть это. Если вообще удалось преодолеть.

— А как вы познакомились?

— В велопоходе, — сказал Лев, не обращая внимания на ее удивление. Кое-чем он не хотел

делиться.

Пока не хотел.

Среди ночи кто-то постучал в окно:

— Эй, есть здесь кто-нибудь?

Като велела Льву молчать.

Луч карманного фонарика осветил салон машины, но занавеска была задернута, и луч не дотянулся до кровати. Мужчина отстал, завел свой мотор, свет фар скользнул по лобовому стеклу, и все снова стихло.

Като сказала, что это уже второй полицейский рейд; вообще-то здесь не разрешено парковаться. Это означало, что ей придется переставить машину в другое место; жаль хотя бы одного только вида.

После случившегося Льву было трудно снова уснуть. Он не смел пошевельнуться. Когда она предложила ему остаться у нее на ночь, он колебался; матрац у нее был шириной от силы метр двадцать, соприкосновения не избежать. Легкого хлопкового одеяла хватало и для него, но только в обрез. Като была щедра во всем, только не с одеялом, это он знал точно.

— Велосипедный магазин — еще не все. Том влюбился.

Лев не сказал, что догадался.

Темнота постепенно отступала и высвобождала их очертания.

— Наше время прошло, а кроме того… — она помедлила.

— Ну?

Казалось, она передумала говорить, но через некоторое время продолжила:

— Если бы я его не встретила, то, наверное, никогда бы не осмелилась снова рисовать. Не научилась бы столь многому. Каждая страна, каждый город, каждая картина показывали мне, кто я есть. И что для меня важно.

Они лежали так близко, что ее волосы касались его щеки. Он осторожно погладил ее по лбу, испытывая облегчение оттого, что они разговаривали как раньше — опять это запрещенное слово!

— Ты поняла это? — уточнил Лев.

Она кивнула:

— Я должна была уйти, чтобы узнать.

— Ясно.

Следующее утро началось с сообщения:

— Сегодня я приступаю к новой картине.

Лев, глядя, как она собирает вещи, спросил о холсте.

— Без него, я буду рисовать на дороге.

Она использовала пастельные мелки, которые

не содержали ни воска, ни масла, только спрессованный пигмент.

— Вот этим, — она показала ему в автобусе, который ехал в город с горы Кеферберг, один мелок, — можно было бы изобразить Сакре-Кёр, а вот этот, голубой, выглядит как вода Изы в летний день.

Парочка, сидевшая напротив них, заинтересованно их разглядывала. Ночью, после полицейской проверки, они перешли с немецкого на румынский. В этом языке открывались другие пространства, одно слово затрагивало другое, вживую, доверительно. От долгого употребления слова обтесались, занимали свои уголки, имели собственную жизнь. Но сочетались. Казалось, до этого на свои воспоминания они могли взглянуть как бы со стороны.

На уличном пятачке у Фраумюнстер расположился мим, замерев в движении, не дыша и не дрогнув ни одной ресницей. Он был весь золотым: шляпа, лицо, ладони, брюки, башмаки, даже стул, на котором сидел, книга, которую читал. Он не реагировал, когда Като напомнила ему, что здесь ее законное рабочее место.

Этому типу выпали плохие карты, только он еще не знает, подумал Лев. Он сел чуть поодаль на

скамью, с интересом ожидая развития событий. В какой-то момент мим шевельнулся, вышел из своего оцепенения. Неожиданно улыбнулся и сказал что-то такое, от чего Като засмеялась.

Мужчина стал собирать свои вещи.

Лев предложил ему что-то съестное, но тот отрицательно помотал головой. Мол, это повредит грим.

Като грубыми штрихами делала набросок, ни разу не подняв голову, чтобы проверить правильность пропорций. Она сидела на корточках, опираясь на одну руку, плавно меняя положение ног, работала сосредоточенно. Никто не останавливался. Перед расположенным неподалеку бюро регистраций жениха и невесту встречали шампанским и цветами. Лодка, полная туристов, проплыла в сторону озера. Солнце добралось до скамьи Льва, позолота на лице мима потрескалась, как будто сломалась его кожа. Мим встал и остановился рядом с Като, словно бы любуясь картиной.

Лев тоже поднялся, чего эти двое вроде как не заметили; повинуясь внезапному импульсу, он пересек площадь и вошел в церковь. Прошел между рядами скамей, пока не обнаружил цветные витражи над пространством хора, рас-

писанным звездами. Снаружи они выглядели серыми и невзрачными, ничто не указывало на то, что ожидало человека внутри. Посетители зажигали свечи, переговаривались шепотом, Лев почти не замечал их. Он сел и рассматривал витражи, пока не решил, что разглядел в них уже все фигуры и сюжеты.

Искусство — это игра между «показать» и «скрыть». Жизнь тоже? Видимое и невидимое, и лишь немногое оказывается на свету. Что-то можно спрятать в себе, до тех пор пока не забудешь, что оно существовало. А другое — нет.

— Как долго ты еще собираешься ждать? — спросила его мать, когда однажды снова пришла почта от Като.

На мгновение он рассердился, однако настойчивость ее тона сдержала его. Он хотел объяснить, что не может просто так все оставить, но она его перебила. Ей надоели его отговорки, пилорама без него не обанкротится, продолжит работать. Его мать настаивала, что ему надо уехать, Имре твердил, что ему надо уехать, будто все гнало его прочь, вытесняло.

Почему он не уехал еще раньше?

Чего боялся?

За окнами шумел город, но внутри церкви было

прохладно и тихо. В памяти всплыли картинки: каталка, туннель, который затопило водой, серая меховая жилетка, Лоня с пакетом орехов. Ему так и не удалось пережить эти лишения. Все стало отражением такого опыта, отсылало к нему, связывало с ним. Он не смог бы это изменить, оно составляло его нутро (или он был его частью?), и с этим ничего нельзя было сделать. Всякий раз, когда его одолевали такие воспоминания, он их отбрасывал, но ему казалось, будто он обрубает ветки дерева, которые тут же снова отрастают. Его ноги немели, как уже бывало, будто под действием тяги из глубины земли, но на сей раз он не боролся, отдался увиденному, страху и скорби, не пытался встать, допустил это. Можно было поступить так, чтобы все зашевелилось и миновало его, или самому прийти в движение, пока остальное замерло на месте.

Кто-то тронул его за плечо, но когда он оглянулся, то увидел лишь мужчину, должно быть нечаянно задевшего его рюкзаком. Под лестницей в небо Иаков сцепился с ангелом в схватке. И хотя они боролись между собой, казалось, будто они обнимаются.

Когда Лев вышел обратно на площадь, ему понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть

к яркому свету. На асфальте между церковью и рекой возник портрет молодой женщины. На ней был голубой тюрбан, летнего цвета реки Изы, со светящимся желтым покрывалом поверх него. Женщина, со слегка приоткрытым ртом, как бы на ходу оглядывалась на смотрящего. Хотела ли она что-то сказать или уже произнесла нечто такое, что еще резонировало вокруг?

Като углубляла свет и тени, позолоченный мим неподвижно наблюдал за этим через ее плечо. Прохожие застывали, образовывали полукруг, бросали деньги в коробку. Через некоторое время что-то случилось, и Лев смог увидеть все — Като, мима, прохожих, площадь и церковь — глазами той женщины, на шее которой отражался блеск жемчужной сережки.

Наконец Като поднялась, отступила на несколько шагов. Она выглядела счастливой, утомленной. И мужчина с позолотой отважился шевельнуться. Раздались спонтанные аплодисменты, оба поклонились. Лев тоже хлопал в ладоши, подобно человеку, совершавшему в субботний день променад на набережной; или человеку, ничего не знающему про эту женщину. Он гордился Като. Тем, как она этого добилась, и тем, что перед ней открывалось; и догадывался, что талант будет

определять ее жизнь.

Като поделилась своим заработком с мимом.

— Это весьма щедро, — ошеломленно сказал тот.

Лев поймал взгляд Като и улыбнулся; было ясно, что она сейчас ответит.

— Я родилась в субботу, — сказала Като.

Разумеется, мужчина ничего не понял.

Что-то удерживало Льва. Словно кто-то взял его за плечо, хотя никого не было видно. Запах костра, звук копыт. Он схватил лестницу, поставив ногу на ступеньку. Опять эта тяжесть.

Он снимал одежду, и с каждым предметом, который он стягивал с себя, ему становилось легче. Теперь все получилось. Скорее ввысь, дальше и дальше, сквозь солнечный свет, сквозь ночь, пока не стало светло и он не очутился наверху. Потом он подтянул лестницу и приставил ее к дереву. Он находился в лесу, но не слышалось ни листьев, ни птиц, ни ветра, лишь отдаленный шум. Скалы возносились из озера, на них сидели женщины, расчесывали свои волосы, которые свисали вниз, в долины, как туман. В облачно-белых одеждах, со звенящими колокольчиками на ногах. Одна из них повернулась к нему, показывая вдаль рукой. На противоположной стороне

озера горел свет. Он воспринял это как призыв и отправился в путь.

Утром он проснулся поздно. По звуку проезжающих машин догадался, что дороги мокрые. Туман из его сна дотянулся до города; прозрачный промозглый туман, который приглушал все звуки. После завтрака он принялся укладывать свои вещи. Одно движение руки приводило к следующему с необходимостью. Он сдал ключ от номера на стойке ресепшен и вышел на улицу.

Перед входом в пансион был припаркован «лендровер». Ни у какой другой машины, какие он знал, не было зарешеченных фар.

Он постучал в стекло с пассажирской стороны.

Като перегнулась через сиденье, опустила стекло:

— Ну что? Не хочешь присесть?

Он сел в машину. Свою дорожную сумку бросил сзади.

Като приветствовала его поцелуем.

Откуда она узнала, что он принял решение?

Почему была так спокойна?

— Ты хочешь уехать? — спросила она.

Он кивнул.

— Хорошо, — сказала она и завела мотор.

Когда они оставили город, Лев спросил:

— Куда мы едем?
Като сделала музыку погромче.
— Куда скажешь.

Семь

I've been looking so long at these pictures of you
That I almost believe that they're real[3].

Като закрыла дверь дома так небрежно, будто через несколько часов опять собиралась быть здесь. И даже на ключ не заперла.

Закрытая и запертая двери вроде бы должны звучать по-разному, подумал Лев; есть же различие между дверью, которая захлопывается, чтобы вскоре открыться, и той, что закрывают плотно на неопределенное время. Почему же он не улавливал отличий? Дверь звучала как всегда, сперва с преодолением, потому что скреблась по верхней деревянной ступеньке: потом короткий всхлип, наподобие кашля, который давал понять, что она закрылась.

Ему хотелось спросить, вернется ли она. Дверь, во всяком случае, не ответила ему. Отказывалась

---

[3] Примечания: 3

Я так долго смотрел на эти твои фотографии,
Что уже почти верю, что они настоящие.

(*Слова песни «Pictures of You» из альбома «Disintegration» группы The Cure.*)

быть соучастницей.

Като выглядела иначе; образы деревни, дома, а может, и Льва уже исчезли из ее жестов, пропали с ее лица. В глазах мерцали вспышки света, виднелся отъезд.

— Спасибо, что ты пришел проститься, — сказала она.

Как формально это прозвучало.

На миг Лев представил, что это никакое не прощание. И через несколько дней дверь снова окажется открытой, и это будет заметно, позовет к себе, и Като опять будет сидеть за столом, в помещении, где нет ничего лишнего, ничего, что не имело бы своего предназначения. Они тогда попытались сделать две комнаты жилыми, покрасили стены, выстирали возле мельницы коврики, купили новую посуду, а от всего, что принадлежало ее отцу, — от его одежды, его инструментов — избавились. Лев надеялся, что куда-нибудь исчезнет и сумрак, всегда царивший здесь.

Теперь стол был прибран, дверь закрыта. Теперь на стволе грушевого дерева, вывороченного с корнем прошлой осенью в бурю, сидел мужчина, и пока Като что-то укладывала в багажную сумку своего велосипеда, он не сводил с нее глаз.

Уж не боялся ли Том, что она передумает?

Лев не сказал бы, что этот человек ему не симпатичен. Если бы они встретились при других обстоятельствах, он бы им даже любовался — его независимостью, тем, что он много путешествовал. Вероятно. Но сейчас мог думать только об одном: зачем тебя принесло именно сюда? Почему ты проехал через нашу деревню?

— Думаю, всё, — сказала Като.

— Если чего-то не хватит, докупим.

— Да чего может не хватить?

— Вот именно.

Том засмеялся.

Като протянула Льву ключ от дома.

Как всегда, он был тем, кто первым отворачивается, разжимает объятия, прерывает молчание.

— Присылай мне открытки из каждой страны.

Вдруг им овладела досада: скорей бы все это кончилось.

— Обещаю, — сказала она.

Едва слышно.

Лев покинул участок Като в переулке на краю села и поднялся на холм. Когда он повернулся, то увидел лишь пыльный след от колес на дороге. Мне следовало бы обернуться, подумал он, узнал хотя бы то, не оглянулась ли она. Окружающее

предстало ему размытым в дымке: рассыпанные вокруг хозяйства с крутыми черепичными крышами, улицы, тропинки, поросшие лесом холмы, горы; все складывалось в привычную картину и одновременно разбегалось по сторонам, будто кто-то тянул за разные концы — так, как его мать распускала рядок вязанья из-за одной ошибочной петли.

Каждый холм и пригорок позволяли увидеть последующие, они образовывали длинную цепь устроенности. Даже если вклинится что-то иное, оно не окажется пустым, хотя именно этого он сейчас и боялся. Потому не смотрел на дорогу, дышал открытым ртом, и с каждым подъемом, с каждым спуском что-то терялось для него, что-то слабело в нем, уменьшалось. Он сжался до незначительной точки, подобно камню и ящерке, что бездвижно грелась под солнцем. Сровняться бы с ней, ощутить теплоту камня, быть частью ландшафта, предаться на милость зим и лет, коловращению дня и ночи.

Он упал на траву, ощутил твердую почву, суету муравьев на коже. Ветер стал крепче, то был не мягкий, веющий ветерок, а догоняющий, сбивающий с ног. Он давил на его тело, на его веки. Лев вцепился руками в траву.

Муравей бежит у тебя по руке и не ведает этого, ветер обрушивается на холм и не знает об этом; но ты-то, ты-то знаешь: она уехала.

Том прикатил в деревню на своем велосипеде неделю назад. Люди выходили за ворота, любовались им как видением. Длинные волосы, загорелая кожа, мускулистый, но все-таки худой. Майки у него были из яркой ткани, на ногах что-то облегающее, похожее на обрезанные колготки. Это и есть функциональная одежда, заинтересовалась Лнюта. Том не говорил по-румынски ни слова, кроме «спасибо» и «добрый день», объяснялся по-немецки и по-английски, а если ни то, ни другое не помогало, обходился улыбкой, жестом. Улыбка у него была достаточной для ответа.

Люди его принимали, как здесь встречают всякого странника, просят его рассказать, хотят всё знать. Том, кажется, привык находиться в центре внимания, откликался на все приглашения, ел, пил, рассказывал, улыбался, ночевал на гостевых кроватях, на сеновалах или у себя в палатке. Като с первого дня была при нем, переводила, не отходила ни на шаг.

Том не заботился о светских условностях, обаятельно не выказывал хорошие манеры, пересту-

пал через то, чего все в долине придерживались; однако они рядом с ним выглядели провинциалами, отсталой деревенщиной, серыми, словно Том забрал все краски для своих ярких маек.

Детям он нравился, они норовили к нему прикоснуться, гладили его волосы, как будто он был сошедшей с пьедестала фигурой святого из церкви, сидели у него на коленях, хотели, чтобы он покатал их на багажнике велосипеда. Они говорили, что он хорошо рассказывает, хотя не понимали ни слова, говорили, что Том объехал полмира. Восемьдесят миров за один день — или вроде того.

Том был родом из Гамбурга, вот уже год он разъезжал по Европе на велосипеде — по той Европе, большой, которая простирается от Атлантики до Черного моря. Он катался по новым федеративным землям, через Польшу, Украину и Молдову, а теперь хотел через север Румынии (где карта висит на гвозде, как говорили местные) отправиться в сторону Запада.

В Варшаве он срезáл в одной оранжерее цветы, пока у него не начались от этого сыпь и зуд. В новооткрытом монастыре Сахарна исполнял должность техника-смотрителя, на озере Ялпуг на два месяца прибился к бригаде рыбаков. Он

оставался на месте сколько хотел, потом ехал дальше куда хотел, продавал свои рассказы в местные газеты. У него, казалось, нет никаких обязательств, как и беспокойства о деньгах. Нельзя было даже представить, что на его лице проступит выражение заботы или тревоги.

От Льва не ускользнул интерес Като к Тому. В ее взгляде появилось что-то лихорадочное, взвинченное; может, она заранее все знала. Том был ее бегством, ее возможностью уехать. Лев отмахивался от беспокойства Като, от ее нарастающего недовольства. Он не хотел знать, что она несчастна, — как и теперь до самого последнего дня отказывался признавать, что она уехала.

— Давай уедем, — предлагала ему она, — и чтобы не знать, когда вернемся.

— Так не годится, — отвечал Лев.

— Не годится или ты не хочешь?

А Том благоволил к молодой женщине, которая всюду следовала за ним. Като напрямую объявила, что хочет сопровождать его. Он лишь заметил на это:

— Тогда тебе нужен велосипед.

Като раздобыла велик, с виду даже исправный. Том осмотрел его, добыл багажные сумки, и Лев радовался, что никто не попросил его о помощи.

Он всегда помогал Като, но теперь не предложил свои услуги.

Они тренировались на велосипедах.

Езда змейкой, езда по гальке.

Далеко разносящийся смех.

— Хочешь спать со мной? — спросил Том, столь вежливый в этом деле, для которого достаточно было бы настойчивости рук или раздевающего взгляда.

— Ну и? — спрашивал Лев.

— Что «ну и»?

— Ты с ним спала?

Ему бы побить Тома, потому что она не ответила.

Лев не хотел облегчить ей жизнь. Когда она сообщила, что уезжает с Томом, он холодно посмотрел на нее. Его охватило желание прогнать ее куда подальше, проложить между нею и собой непреодолимую пропасть. Пусть на ее лице останется огорчение из-за того, что он так отреагировал; вот бы и сейчас оно сохранилось. Хуже всего, если бы это огорчение исчезло за первым же поворотом. Он тщательно отряхнул пыль со своих брюк и пожелал ей счастливого пути, сознательно не глядя на нее. На следующий же день не смог встать с постели.

Не заболел ли он, спросила мать.

Он дал ей понять, что хочет побыть один.

В детстве после того несчастного случая ему пришлось долго лежать в кровати; то, что тогда казалось ему наказанием, теперь бы ему понравилось. Не вставать, лежать и слушать, как дом выбирается из дня и вписывается в ночь; слушать шаги матери в прихожей, на террасе, веранде, пока все не угомонится и наконец ни в доме, ни во дворе нельзя будет расслышать ни малейшего движения. Его сестра Бредика, его племянница и племянники навещали бы его, братья сказали бы: «Вставай!», а он бы спросил: «Зачем?»

Только когда Лиз вечером присела у его кровати, он набрался мужества посмотреть на нее. Она поцеловала его в лоб, он смутился, но стыда не почувствовал. Кому же еще, как не ей, позволительно сделать это.

— Я знаю, что ты остаешься из-за меня.

Лев приподнялся. Так вот она что подумала?

— У нее ведь здесь больше никого нет.

— А я на что? — спросил Лев.

— Вы не можете быть опорой друг для друга.

Какой-то шум в переулке, скрип ворот, лай собаки, стук ведра о край колодца. Вечерний свет проник в его комнату, придавая мебели легкий

флер.

— Идем есть, — позвала Лиз. — Завтра, когда Като уедет, скажи ей «прощай» и передай ей от меня вот что.

Лев взял у нее конверт.

Его мать уже стояла в дверях, когда он сказал, что она ошибается в одном. Он остался не из-за нее, а по другой причине.

А по какой, не сказал.

Он не говорил о Като. Когда другие заводили речь о ней — о том, где сейчас могут быть Том и Като, — он принимал безучастный вид и менял тему. Он ходил на работу, приносил в дом опилки на башмаках и на одежде, а в промежутке выполнял бесчисленные дела, про которые забывал, еще даже не доделав их. Каждому движению, каждому решению предшествовало сопротивление, как дополнительный груз. И вдруг он набрался сил одеться, сил держать чашку, выйти из дома. Что-то такое свалилось с него, то, что почти невозможно было снова поднять. Оно хотело упасть. Зачем же утруждать себя?

Ну хотя бы «прощай» он ей сказал.

В этом ему не придется себя упрекать.

Имре отправил его домой, когда увидел, как пилу, полотна которой обычно крутились с

ненормальной скоростью, переклинило в бревне. Полотна разогрелись и погнулись, на устройстве подачи скопились бревна. Льву стоило лишь руку протянуть, чтобы остановить машину, но он чувствовал себя не в состоянии что-либо сделать. Наоборот, с удовольствием дождался бы, пока все не разлетится по сторонам. Машина восстала, она была на его стороне, в отличие от двери дома Като.

Имре не спросил, что с ним. Только посмотрел на него, будто уже понял — по виду Льва, по его взгляду, по тому, как он стоял у механизма, — и теперь знал все, что требовалось.

— Приходи, когда поправишься.

По дороге домой Лев принял решение: а что, если ему тоже обзавестись велосипедом? Он бы тогда смог поехать не на запад, а на юг.

Не к ней, а подальше от нее.

Не прочь из этой страны.

А вглубь нее.

Неужели велосипеды опять в моде, спросил Сиги. Люди казались ему подобными птицам по осени: не могли оставаться на месте, должны были всегда странствовать.

Если ты что-то покупал у Сиги, к этому обязательно прилагался какой-нибудь жизненный

совет, даже если он тебе и не требовался.

Необычайно трудно в такие времена постоянно (он подчеркивал это слово) добывать велосипеды.

— Так ты можешь раздобыть один или нет?

Сиги сделал обиженный вид, хотя всегда выглядел так, словно кто-то ему только что напакостил в бизнесе. Вероятно, это объяснялось тем, что у него не было зубов, а без них он не находил удовольствия в еде.

— Ну хорошо, — сказал Лев и сделал вид, что хочет уйти. Лучшее средство, чтобы ускорить сделку. Только не стоило торопиться, чтобы не испортить Сиги удовольствие.

— Я сказал «трудно», я не сказал «невозможно»!

Через несколько дней Лев забрал свой велосипед, заплатил сумму, которая показалась ему чрезмерной за ржавый двухколесный механизм, и на следующее утро уехал. Его мать только высоко подняла брови, услышав об отъезде, но вечером он обнаружил на своей кровати рюкзак, полотенце и мыло. Отправился он в ранний утренний час, чтобы избежать нескончаемых прощаний; запер дверь дома Като и сунул ключ в карман брюк. Сначала намеревался войти, но за-

тем лишь поправил снаружи на оконном стекле выцветшую картинку Эйфелевой башни.

Добралась ли она в своем странствии до Парижа?

На тридцатый день рождения Като они ездили вместе на Черное море. Поезд был забит людьми и ехал не быстрее пятидесяти километров в час, все указатели и наклейки были исключительно на немецком языке. В каждой, даже самой маленькой деревушке имелся вокзал, и там дежурный. Выходивший отдавал входящему свой билет.

Когда незадолго до Германштадта в вагон вошла футбольная команда маленьких мальчиков, пассажиры сажали их к себе на колени. Лев и Като уступили им свои места и разместились прямо на полу. Двери во время поездки оставались открытыми. Като закрыла глаза навстречу ветру, по ее лицу пробегали светлые и темные тени. Где-то между Кронштадтом и Синаей кондуктор включил по радио песню группы The Cure. С одним пассажиром из Дрездена они заговорили о войне, в которой речь опять заходит о том, чтобы совместить этнические рамки с государственными границами. Они решили считать свою национальную принадлежность менее важной, чем та переменчивая, разрастающаяся сеть различных

меток — из музыки, историй, поговорок.

Всякий раз, когда звучали композиции The Cure, Лев вспоминал ту поездку. И если бы ему потребовалось назвать тот момент, в который ему казалось, что все возможно, это был бы именно тот.

Первую ночь он провел на сеновале.

Хлеб, сало и яйца он прихватил из дома, у одной женщины купил сыр и молоко. Она предложила ему переночевать у нее, но он сказал, что должен ехать дальше. На вопрос «куда» у него не нашлось ответа. Она посмотрела на него так, будто он не в себе. Никто здесь просто так не ехал неведомо куда. Какое впечатление он произвел на нее в своей пропотелой майке, с велосипедом, сиденье которого лопнуло, и с рюкзаком почти без поклажи? Первый этап выдался самым трудным. Серпантины вели в гору, и когда он, с онемевшими ногами, добрался до вершины и озирал сверху волнисто-холмистую местность, то сомневался, что сможет продержаться долго. Его зад, по крайней мере, точно нет. Но потом следовал спуск, и он оказывался дальше, чем предполагал.

Он не хотел общества другого человека, но когда теперь думал о той женщине, о ее дружелюбных и вместе с тем серьезных глазах, о ее

осанке, благожелательной манере держаться, то не был уверен, правильно ли поступил.

Перед ним простиралась долина с одинокими хуторами и кое-где видневшимися на расстоянии друг от друга черными буйволами. Лесистые Карпаты остались позади в первый же день. Не то что Като. Он научился воспринимать ландшафт таким, как на ее рисунках, — размашистые линии, сгущения, вкрапления цвета. Когда он ощущал на своей коже ветер, а пыль горела у него в глазах, он был близок к ней. Она тоже понимала толк в ветре и пыли; к тому же, наверное, привыкла к монотонному, повторяющемуся движению ног, склоненному вперед корпусу, вытянутым рукам.

Как далеко они продвинулись в первую неделю? Есть ли у нее все необходимое? Поспевала ли она за Томом? Что она себе думала? Может, «поверни назад» или «подожди» — он ведь ничего о ней не знал.

Это вошло у него в привычку — беспокоиться о ней. Он делал для нее покупки, чинил кран, если тот капал, менял деревянные планки, помогал справляться с бюрократическими процедурами; она сколько угодно могла повторять ему, что справится и сама. Теперь же не имел возможности помогать. Он ведь даже не знал, где она.

Уходя, она кое-что прихватила с собой — радость, смысл, но он не мог кому-то сказать об этом, потому что другим было все равно.

Пока не стемнело, он нагреб сена и улегся спать. Слышалось лишь потрескивание древесины от тепла и ветра. Рюкзак с провиантом висел на крючке. Мышам пришлось искать себе другую еду.

На следующее утро он закрыл дверь сарая и поехал дальше, не позавтракав. Ноги у него одеревенели и не попадали в ритм. К тому же дорога шла в гору, подъем оказался слишком крут для этого утра. Немного поколебавшись, он решительно повернул назад.

Она сидела на скамье под навесом у своих ворот, чистила початки кукурузы и смотрела ему навстречу. Не выказав удивления, встала. В соседнем доме шевельнулись занавески на окне. Корова с бесцветной шкурой и коротковатыми передними ногами стояла посреди двора. Ее вид не очень-то смутил его, они тут все после Чернобыля привыкли к уродствам у животных. Собака, привязанная на цепь, с лаем метнулась ко Льву, но замерла по жесту женщины. Та пошла в дом, вернулась с полотенцем и мылом. Лев не сознался, что все это у него есть свое.

Он умылся у колодца, заметил, что насос едва работает, сходил в туалет и причесался перед зеркальцем, прибитым к дощатой стене. Она накрыла стол на веранде, смотрела на него пристально, когда он шагал к ней через весь двор. Лев поднялся на крыльцо веранды, сделал вид, что не заметил ее взгляда, который его тревожил и вместе с тем льстил ему.

Ее звали Маринела, и ей было около сорока лет. Брови едва различимые, губы почти в тон цвету кожи. А какого цвета ее волосы под платком, он мог только предполагать. Она одна управляется с хозяйством? Он никого тут не видел ни вчера, ни сегодня. Занавес из бусин на проеме двери не позволял заглянуть внутрь дома.

Он спросил, одна ли она здесь живет, и она ответила, что муж работает в Италии, а дети уехали в город Яссы. После каждой фразы она делала небольшую паузу, как будто не сразу находила связь со следующей. Голос у нее был ясный, но все же в нем присутствовало достаточно темноты, чтобы слова отзывались эхом.

Не одиноко ли ей, спросил Лев и тотчас пожалел о своем вопросе. Но она ответила, прямо, без колебаний:

— Не более, чем всегда.

Лев ел хлеб, помидоры, несоленый овечий сыр, пил кофе, который она принесла из кухни в небольшой кастрюле, каждый ее проход сопровождался перезвоном занавеса. Сама она не ела, только пила кофе, не отставляя чашку, а держа ее в руках.

Но чтобы вот так разъезжать, тоже надо быть одиноким, сказала она с улыбкой, будто подвергая его проверке. Мол, есть люди, «care umblă cu cioara vopsită», «прогуливаются с какой-нибудь крашеной вороной», воображают из себя. Но он-то не разгуливал с крашеной вороной, у него она черная.

Следующие дни вели его мимо пастбищ, кукурузных и конопляных полей. Он то и дело натыкался на стада овец; их шерстяные спины омывали его, как вода ручья, огибающая препятствие. Земля становилась более плоской, умножались фруктовые деревья. Это была Трансильвания.

— Erdély, — говорил Имре по-венгерски.

— Ardeal, — говорили его братья и сестра по-румынски.

Лев знал эту дорогу по своим поездкам в Шессбург. Но ехать на велосипеде — совсем другое дело. Он видел разрушенные панельные дома,

фабричные здания, явно заброшенные, ржавые подъемные краны и остановленные конвейеры, торчащие вверх фабричные трубы. Архитектура последних десятилетий выражала безутешное уныние; здания еще долго будут мозолить людям глаза своим прошлым. Но встречались и знаки пробуждения. Он видел дома, где построен только нижний этаж, но там уже жили, а стены верхнего этажа стояли без крыши; видел магазинчики, пластиковые стулья под зонтами с рекламой пива на них. В растянутых вдоль дороги селах люди сидели перед своими домами, как это всегда бывало, с обращенной наружу изнанкой. Но их стало меньше.

Лев вспомнил разговор со своим братом Валеа, который никогда не забывал подчеркнуть, что они не родные, а всего лишь единокровные братья, по отцу. Вы, немцы, живете внутри ограды, совсем срослись со своим домом, задергиваете занавески, прячетесь во дворе, как лиса в своей норе. А мы, румыны, живем на дороге, у всех на виду, готовые к контакту. Если улица наклонилась, сползла, мы падаем вместе с ней, тоже сползаем. Отними у вас вашу ограду, ваш дом, что тогда от вас останется? Даже теперь Льва задевало разделение на «вы» и «мы», которое

проводил его брат.

Уровень воды в реке был низкий, в кустах и деревьях виднелся застрявший пластиковый мусор. Если дул ветер, над дорогой слышался шорох. Лев ехал в стороне от главных дорог, вдоль оград, иногда путь заводил в бездорожье, и тогда он вел велосипед в руках. Он угощался яблоками и сливами, когда был голоден, а голоден он был всегда. Ни о чем особенно не думал, кроме как поесть и поспать. Не строить планов, только одолеть очередной затяжной подъем, утолить жажду. Его ноги свыклись с новым ритмом, только руки затекали, и он пытался ехать «без рук», что получилось у него не сразу.

Всегда попадался какой-нибудь источник, из которого он мог напиться, и находился тот, кто давал ему еды, разрешал переночевать на сеновале. Однажды Лев спал под тисом. Иголки, темно-зеленые с более светлым исподом, то ли журчали, то ли шуршали, он подыскивал подходящее слово. Он не мог заглушить эти звуки, они пронизывали его насквозь, настолько мимолетные и выразительные, что их можно было перевести в слова и изображения.

Однажды он попытался объяснить Като это чувство.

А разве это не всегда так, спросила она.

Временами он свободен оттого, чтобы вслушиваться, ответил он.

Когда, спросила она, глядя на него. Глаза Като были светлыми, как вода в реке Иза. Ему казалось, что он мог рассмотреть все до самого дна, но это никогда не удавалось, всегда приходилось слегка отпрянуть.

Когда я вместе с тобой.

Но этого он не сказал.

Ночь под тисом показала его место, вернула в одиночество, в сомнения.

Что, собственно, он делал? Для чего он ехал по земле? Но всякий раз, когда он был готов повернуть назад, что-то его удерживало. Като ведь не сказала ему, вернется ли она когда-либо; как же он мог бы вернуться?

Он ехал по деревне, где-то между Рином и Ноймарктом; усталый и голодный. Остановился перед домом пастора. Темные окна, светло-желтая штукатурка крошилась и осыпалась. Ворота не заперты. Он нерешительно ступил во двор, но сразу понял: здесь больше никто не живет. Двор был вымощен, сорняки и мелкая трава пробивались между камнями. Женское пальто и шляпа от солнца занимали свое место. Посреди двора росло

ореховое дерево, под ним стояли два деревянных стула, одно напротив к другого, будто вели беседу. Не виднелось ни облачка, только хмарь неба выдавала, что уже сентябрь. Окна дома сохранились целыми, куст бузины вытянулся чуть ли не выше дома. Строению рядом — вероятно, это зал для собраний общины — повезло куда меньше: кирпичи обнажились, деревянные балки крыши беззащитно торчали, на месте двери зияла дыра.

Все происходило само собой: обнажалось, облезало, зарастало бурьяном. Этот двор был так тих, так окончательно покинут, что Лев почувствовал себя захватчиком. Потом он услышал блеянье козы. Она смотрела на него сверху вниз со стены общинного зала.

Шессбург стал первым городом, который он не объехал стороной. Среди людей с их умытыми лицами и чистой одеждой он чувствовал себя чужим. У сторожевой башни продавались черно-белые открытки с видами города, в киоске рядом висели календари с голыми женщинами. На городской площади стояли деревянные будки, между ними несколько мужчин бдительно зондировали местность. Один из них спросил у Льва сигарету. Лев ел лепешку, наполнив свою фляжку водой из колонки. Зазвонили колокола

и, как всегда, напомнили ему о революции.

С виду бесцельно он бродил по знакомым переулкам, пока не дошел до одного дома. Когда кто-то вошел в дверь, Лев проскользнул в подъезд вслед за ним. Он ждал у дверей, пока не стихнут шаги, потом вышел во дворик. Несколько домов, пристроенных один к другому, цветочный вазон, натянутая бельевая веревка. Крутая лестница вела на второй этаж. Бывшая мастерская Ферри использовалась, как он увидел, заглянув в окно, в качестве склада; верстак из древесины бука все еще стоял там; на этом верстаке дед изготовлял стекла для часов, на нем же и ели, и праздновали, когда места в квартире не хватало. Здесь Ферри жил со своей женой, которая его покинула, когда Лиз было три года. Здесь выросла и жила его мать — до той уборки урожая, когда она влюбилась в отца Льва и переехала в деревню на двести километров севернее.

Тяжело ли было его матери уезжать отсюда? Сменить привычную жизнь на другую, немецкий язык на румынский, вырастить четверых детей, из которых только Лев был ей родным? Он никогда не задумывался, насколько болезненным стал для Ферри ее уход.

Был ли он здесь хоть раз после ее бегства?

Лев поднял обломок стекла, что лежал у верстака.

Потом услышал, как открылось окно.

Чего ему здесь надо, спросил мужчина.

И вдруг он больше не мог врать себе. Здесь он оказался ради чего-то определенного. В туалетной комнате одного ресторана он умылся, пригладил свои пыльные волосы. Посмотрел в зеркало и смочил потрескавшиеся губы.

Не желает ли он что-нибудь съесть, предложил ему официант.

Может, попозже, ответил Лев и быстро вышел наружу.

Дойдя до ее дома, он уставился на окно во втором этаже, в которое так часто бросал камешки. На подоконнике все еще стояли кактусы, за железными воротами слышались голоса, кто-то упражнялся на скрипке. Мужество покинуло его, он повернулся, пошел к Ученической лестнице Школы на холме. Под деревянной крышей перехода было сумеречно-тепло. Как всегда, он сосчитал ступени, ведущие к лицею.

Поднявшись наверх, он услышал знакомый голос.

— А это и правда ты.

Перед ним стояла Астрид.

Она сжимала рукой полы своего вязаного жакета, хотя холодно не было.

— Я увидела тебя перед нашим домом.

— Да, я…

— Ты здесь, чтобы полюбоваться видом?

За деревьями простирался город с его улочками, стенами и башнями, паутиной кабелей и телевизионных антенн. Сколько раз Льва, когда он гостил у своего деда, посылали в магазинчики — за молоком, за хлебом; он проводил в очереди целые часы с другими женщинами и мужчинами, которые тоже надеялись, что вывеска «Lapte» или «Pîine»[4] в тот день будет соответствовать правде, а не окажется эрзацем — иногда бывает достаточно и слова. Ожидающие тихо переговаривались, стояли кучно, плечом к плечу, и теперь, когда Лев размышлял об этом, его удивляла та смесь из покорности, оцепенения и терпения.

— Как поживаешь, Астрид?

— Хорошо, — ответила она, все так же крепко сжимая рукой полы своего жакета. — Скоро выйду замуж.

— Я рад за тебя, — сказал Лев. И действительно почувствовал одновременно радость и облег-

---

[4] Примечания: 4
«Молоко»… «Хлеб» (*рум.*).

чение.

— Я пришел попросить у тебя прощения.

— Я надеялась на это, — сказала Астрид.

Сперва он подумал, что неправильно запомнил место.

Потом ему пришлось признать, что его велосипед угнали.

Вот оно, наказание, точно наказание, что же еще. Он попросил прощения, но этого было мало, так легко никто не смог бы отделаться. На мгновение он испытал искушение уехать на одном из тех велосипедов, что стояли там без замка. Разве это не полагалось ему уже хотя бы потому, у него что-то отняли?

Лев оставил город позади, через несколько километров свернул с главной дороги, пересекая луга, виноградники, перелески; мысли его успокоились, вскоре он уже ни о чем не думал, даже о том, куда направиться. Он ночевал на земле, прислонясь к стене покинутой хижины. Ранним утром услышал шаги, шепот, кто-то грубо схватил его за локоть.

Перед ним стояли двое мужчин. Один посягал на его рюкзак.

Лев поднялся, сообразив, с кем имеет дело, опустил голову. В армии он научился никого не

провоцировать. В таких ситуациях все происходит само собой — инстинктивно понимаешь, дадут ли что-нибудь разговоры и есть ли у тебя шанс в драке. Он мог бы попробовать, физически он был покрепче их, но увидел нож и передумал. В рюкзаке, кроме денег, не было ничего ценного. Паспорт он держал в кармане брюк. Также и ключ от дома Като.

После того как мужчины подались в поля, он какое-то время стоял неподвижно. Странным образом ему показалось логичным, что он лишился всего. Он чувствовал себя освобожденным, а вот от чего именно, он не мог бы сказать. По крайней мере, тебя не побили, думал он, но если бы и побили, он бы тоже смирился.

Лица этих двоих то и дело возникали у него перед глазами; он ясно представлял их, хотя и видел мельком. Перед тем как оставить его, тот, что был пониже и слегка подволакивал ногу, кивнул ему, почти извиняясь.

Что же теперь делать?

Его румынская бабушка посоветовала бы ему вернуться, немедленно. Она всегда знала, что будет. В ее жизни не было ничего непредвиденного. Ни потеря ее сына, ни революция, ни тем более ее собственная смерть. Буника видела след птицы в

воздухе еще до того, как та пролетала.

В свои последние недели она много и беспокойно спала. Иногда всплывали воспоминания, иногда она становилась разговорчивой, казалось, была в полном сознании. Когда Лев ее спросил, не боится ли она смерти, бабушка отрицательно помотала головой, будто он задал совсем глупый вопрос. Она видела один и тот же, повторяющийся сон. Свеча на подоконнике. Вдруг в комнату врывается сквозняк, и становится темно. Но лишь не надолго, а потом перед ней горящая свеча по другую сторону окна.

Только на похоронах Лев узнал ее полное имя: Мария Аурика Костин. Для него она всегда была просто буника — бабушка. То, что она почти в каждом разговоре упоминала умерших (твой отец бы сейчас… как любил говорить мой муж…), казалось ему причудой. Теперь он сам стал одним из тех, кто просит совета у покойников. Но что бы ни говорила буника, это не могло быть завершением его путешествия.

Во второй половине дня он добрался до деревни. В какой-то момент он уже не понимал, то ли он выходит из деревни, то ли вступает в нее. Такой извилистой была улица. Одноэтажные дома тянулись как лента, стена к стене, ворота к воро-

там. Он миновал церковь, построенную скорее как крепость. Пожилая пара сидела на скамье. Лев поздоровался с ними по-немецки, и мужчина без долгих предисловий пригласил его на ужин.

— С виду ты голодный.

— Я и есть голодный.

— И душ ему не повредит, — добавила его жена.

— Не повредит, — подтвердил Лев.

Женщина, которая назвалась Анной и запретила ему говорить ей «вы», положила перед ним свежую одежду. А его вещи она выстирает, до завтрашнего дня они высохнут. И куда уж там он направляется (она сделала паузу, словно хотела предоставить ему возможность объяснить свое странное явление), в таком виде это делать нельзя. Вот джинсы и футболка «Levis» — вещи ее сына, который теперь в Германии.

Анна и Герберт были, не считая еще одной женщины, единственными трансильванскими саксами, оставшимися в деревне. Некоторые сохранили за собой свои дома или купили другие и проводили здесь лето; «летние саксонцы», сказал про них Герберт, и было непонятно, говорит ли он с презрением или же нет.

Льву хотелось бы узнать, почему они остались,

но он не спросил, а вместо этого рассказал за ужином, что вообще-то он странствовал на велосипеде. Он произнес слово «отпуск», хотя это показалось ему странным, и он не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь уходил в отпуск, не говоря уже о том, что он в нем и не нуждался. Он стыдился того, что спрятал свое странствие в достоверной истории, но ведь что-то ему необходимо было сказать.

Ужин состоял из овощного супа, поджаренной колбасы с картофельным пюре и консервированной паприки. Анна, которая в этот будний день готовила только суп, пополнила ужин из запасов, как делают, когда приходят гости. Герберт налил вина, и Лев узнал, что у четы два сына, младший, чью футболку он надел, и старший, у которого у самого есть дети. Оба жили в Штутгарте.

Постелили ему в каморке, выходящей во двор. Он разделся, лег на прохладное, свежее постельное белье. Когда дверь приоткрылась на щелочку и Анна спросила, не надо ли ему чего-нибудь еще, он едва смог пролепетать «спасибо».

На следующий день он, смущенный, вышел во двор. Анна стерла его смущение, сказав, что он хороший гость: сэкономил им на своем завтраке.

Его постиранная одежда, как и было обещано,

уже высохла.

Герберт смазывал цепь велосипеда.

— Можешь его забрать, — сказал он. — Мы на нем уже не ездим.

Это он не сможет принять, сказал Лев.

— Почему? Велосипед здесь только зря стоит, место занимает.

Анна смотрела на него, спрятав руки в карманах передника.

Льву только и оставалось, что кивнуть. У него вдруг перехватило горло.

Эмиграция была неотвратимой. Как наркотическая зависимость.

Каждый боялся оказаться последним.

Анна и Герберт приняли решение остаться. Их дети уехали, их соседи, да и пастор тоже уехал. Чего они тут выжидают, спрашивали их. Они не выжидают, они тут живут, говорила Анна, и Лев был рад, что ни о чем не спросил.

Потерянное время, сказали они. Будто бывает время, которое можно сохранить.

После этого Лев смотрел на деревни, которые проезжал на своем новом велосипеде, другими глазами. Раньше он многое едва замечал; и в его деревне тоже были заброшенные дома, осиротевшие сады. И в его деревне в последние годы

каждый смотрел на другого с вопросом: ну что, и ты уедешь? А на скамьях перед воротами судачили об уезжающих. И с каждым неуехавшим крепла надежда, что все-таки можно и остаться.

В приходском помещении на полу валялись осколки и занесенные ветром листья. Церковные окна полопались, обрезанные веревки в звоннице лежали как змеи. В другой церкви обрушился свод, фрагменты потолка кто-то разложил на церковных скамьях. В ризнице стояла мебель, сундуки, свернутые рулоном ковры, тачка. Было прохладно, пахло подушками, свечным воском, сыростью. В одном селении православная община использовала помещение протестантской церкви, на алтаре стояли иконы. В другой церкви какой-то мужчина бродил по хорам, как будто искал Бога. Лев сел на скамью и читал записи на стенах. Прочитал: «Если вы не верите, то не спасетесь».

Анна дала ему с собой бутерброды, сыр и паприку, настояла также и на том, чтобы футболку ее сына он оставил себе. Может быть, предположил Лев, ей радостно представлять, что кто-то рассекает окрестности в одежде сына.

Своим ужином он поделился с кошкой. Когда, закрыв глаза, он откинулся на стену сарая, то по-

чувствовал, как что-то теплое, мягкое прижалось к его ногам. Кошка была изящная, совершенно черная, даже усы и лапы были черными.

Когда уезжаешь, оставляешь не только дом и друзей, но и животных. Лев вспомнил одного человека, который не смог отдать в чужие руки коня и вместо этого привел его на бойню. Вспомнил женщину, которая выпустила своих кур, понимая, что они не выживут. Лев подумал о том, как любит животных Като. Потом вспомнил об освобождении мира и поневоле рассмеялся так, что кошка вздрогнула. Он никогда не спрашивал Като, что она сделала с собакой. Были вещи, которые они никогда не обсуждали. О чем не было разговора, того вроде как и не существовало.

Ему нравилась эта договоренность между ними — знать главное, а всего остального не касаться. Но не обманывает ли он себя в этом? Он работал в лесу и служил в армии. Она потеряла Камиля. И что он знал о ее повседневной жизни, о ее жизни с отцом? В это она его не посвящала, а он не спрашивал — из осторожности, из удобства. С годами становилось все больше тем, которые они не затрагивали; эти темы были врыты в землю как пограничные столбы, за которые нельзя переступать.

Лев раскрошил сыр и колбасу, покормил ими кошку. После еды она тщательно вылизала себя и легла рядом с ним. Ее шерсть отливала лиловым, как лаванда, как баклажан, подумал он. Он смотрел вдаль на поля, на ландшафт, который обходился без огней и без людей. Они жили в покинутом мире. В мире на пороге. Като это понимала, он — нет.

Он увидел это только теперь, когда и она ушла.

В эту ночь в сарае ему приснился кот Халил. Зеленые глаза с оранжево-коричневыми крапинами, обведенные черной каймой, словно карандашом для век его сестры. Когда глаза были закрыты, оставалась лишь эта черная линия, от носа отвесно вверх и через веки наискосок назад. Иногда он производил впечатление молодого дракона, иногда благородного господина в белой рубашке, когда сидел на задних лапах, расправив грудь. Она была такая белая, точно он выкупал ее в молоке.

Лев долго не хотел признавать, что Халил издох; просто был старый, уговаривал он себя, очень старый, очень усталый кот. Потом Халил стал худеть, затем меньше есть, стал разборчив в еде; что ему нравилось в один день, в другой вызывало почти отвращение. Впоследствии один

его глаз покраснел, зрачок был окружен воспаленным кругом.

Халил лег в сарае, где никогда прежде не оставался, позади доски, прислоненной к стене. Лев искал его полдня, пока не обнаружил там, уговаривал выйти, пытался выманить едой, но Халил тускло смотрел на него, будто они не знали друг друга, своим глазом с красной каймой.

Лев сел перед доской и ждал.

Халил поднялся лишь для того, чтобы сделать свои дела, больше ничего не ел, дышал неглубоко, был очень тих. В тишине выжидал и Лев, два дня и ночь.

— Каждый зверь знает, как ему предстоит умереть, — говорила Лиз. — Умирание — это не то, в чем ему нужна твоя помощь.

Его брат Дорин вынес ему одеяло, когда настала ночь.

Позже дыхание животного участилось, почти перешло в мурлыканье, но оно не имело ничего общего с успокоительным урчанием, знакомым Льву с детства. Он чувствовал борьбу животного, тихую, тяжелую борьбу, и был в отчаянии оттого, что ничего не мог сделать. Он ушел в дом, но не выдержал там, вернулся в сарай, где Халил все так же лежал за доской, в какой-то момент

встал, чтобы пойти в туалет, и на половине пути упал. Лев отнес его в сад, испугавшись его почти бестелесного веса, опять принес его за доску и сел рядом ждать. Жжение, тяжесть наполняли его грудную клетку. Слезы текли по лицу, но он не сознавал, что плачет. Смерть была ощутимой, заполнила собой весь сарай; не раздавалось никаких звуков, кроме отдаленного потрескивания, словно за дверью горел огонь. Смерть была тишиной, предвкушением пустоты, уносила все прочь. В последний день, в последние часы он пытался покормить кота, капал ему молоко, потом перестал.

Влитое молоко вытекало у Халила из пасти, он не глотал, и Льву стало стыдно за свое насилие. Он никогда его ни к чему не принуждал, а теперь попытался заставить его жить.

Кот умер, когда Лев ненадолго отлучился в дом.

Он не мог умереть, пока перед доской сидел Лев.

Краски отступили, поблекли.

Халил предстал перед ним после пробуждения точно живой, будто они снова увиделись. «Халил» по-арабски означало «добрый друг». Като рассказала тогда ему эту безумную историю, объяснила,

что кот родом с Востока и имеет благородное происхождение. После его смерти Лев пытался снова расспросить ее, но вообще-то он хотел и дальше жить в этой истории, даже если она была придуманной.

Во всем имелись эти темные места, где прекращались переживания и начинались воспоминания. Что-то оставалось, а что-то утрачивалось, порой непосредственно в момент самого события, и, как ни старайся, больше никогда не возвращалось. Воспоминания были рассеяны по времени как проблески. В них погружаешься случайно, и никогда не знаешь, что там найдешь. Самые впечатляющие моменты, то, что не теряется, не принадлежат тебе одному. Тебе принадлежит только страх. Забвение. Все остальное, думал Лев, остается данным тебе лишь через других.

Чем он занимался последние годы?

Он приватизировал пилораму вместе с Имре, заботился о своей племяннице, о своих племянниках, навещал Милену в трактире. Ездил с Като по долине реки Изы, помогал своей матери и бунике, целые дни проводил на реке — и в это время ждал. Не вернется ли Камиль, не начнет ли Като снова рисовать. Они ждали конца диктатуры, потом они ждали чего-то нового, не ведая,

что оно им сулит. Ничего не хотели так страстно, как открытия границ, а когда те открылись, не понимали, что с этой открытостью делать. Лев больше не мог уговаривать себя, что вот-вот наберется смелости.

Что-то его удерживало.

Мысленно все чаще возвращался к Като и Тому; спрашивал себя, где они сейчас. После нескольких оборотов педалей он вдруг понял, что пора возвращаться. Поехал обратно прямым путем, проезжая большие участки по главной дороге, позволяя себя обгонять, получал удивленные, шутливые, а иногда и дерзкие выкрики, отвечал на них жестом победы «V» и через два дня добрался до той деревни, в которой провел первую ночь своего путешествия. Маринела не сидела у ворот. А в его воображении она все это время так и не сдвинулась с места.

Он постучался. Залаяла собака.

Лай смолк, и Лев знал, что она на пути к воротам. В соседнем доме снова шевельнулась занавеска.

Это не только другой велосипед, сказала Маринела вместо приветствия, но и черной вороны больше нет на руле.

— Да, улетела, — подтвердил Лев.

— Но одну птицу ты все еще выгуливаешь.

Пока она готовила еду, он чинил колодезный насос, который слабо качал. Корова с бесцветной шкурой и слишком короткими передними ногами с интересом наблюдала за ним.

Маринела не спросила, почему он снова очутился здесь, она накрыла стол на веранде, взяла хорошую посуду; он увидел это и заметил также, как она его откровенно разглядывает. В словах Маринелы не скрывалось расчета. То была речь жары, зеленых холмов, работы, которая никогда не кончалась, никого не щадила, речь тела, не языка.

После того как они поели — молча, ограничиваясь лишь обрывками кратких фраз: еще соли, не хочешь ли воды, это вкусно, большое спасибо, — он хотел помочь ей убрать со стола. Она положила ладонь на его руку. Он ощутил ее кожу, теплое прикосновение руки, и у него мелькнула мысль или скорее картинка. Выражение ее лица изменилось, словно она увидела то же самое.

Маринела показала ему душ: бочка для дождевой воды на деревянной конструкции и лейка. Вода была приятно теплой, на табурете лежали приборы для бритья. Должно быть, это она положила, пока он мылся. Он побрился перед

зеркалом на деревянной стене, его лицо преобразилось, как всегда и бывает, когда сбриваешь бороду.

Со стола было убрано. Собака не собиралась следить за ним и все-таки следила. Корова подогнула колени и улеглась посреди двора. По деревенской дороге везли ручную тележку, в ней гремели бидоны, пахло дымом от сжигаемой листвы.

Маринела переоделась, протянула ему стопку водки. Они пили стоя, и когда Лев собирался сказать нечто такое, что объяснило бы его пребывание тут, оправдало бы его присутствие здесь в ночи, продлило бы его, она ступила в дверной проем, будто ключевой вопрос был давно обговорен. Штора из нитей обрамляла ее образ, светлыми струями ниспадала вдоль ее тела. Наполовину в доме, наполовину на веранде, одна рука на дверном косяке, она обернулась.

Она смотрела на него так долго, пока он не понял.

Шесть

Suṣia zavela vouca tai iahnia ed vodii. Vouc sa zoper mai edhori a iahnia malo mai udoleni. Vouc sa hapeu vedete ez iahniam: «Ta cio», zazvidau oven «calamuteș vodu, cotru ia piu?»[5]

В комнату входишь не иначе как в музей. Снаружи мог царить ясный день, могло стоять лето, мир мог хоть в огне гореть, а в горнице буники было темно и прохладно.

Несущие опоры делили дом на две половины: в одной — плита и кровать, другая — праздничная. В ней царило неприкосновенное состояние. Мебель, казалось, дремала, ни пылинки; покрывало на диване гладко застлано, подушки выстроены аккуратной шпалерой. Комната чисто прибрана, всегда готова к приему гостей, но Лев-то знал: горница предпочитала оставаться без них. Детьми они были убеждены, что там живет привидение, и когда их посылали туда за чем-нибудь, они

---

[5] Примечания: 5

Жажда пригнала к реке волка и ягненка. Выше по течению стоял волк, ниже по течению ягненок. Волк затеял ссору. «Почему, — спросил он, — ты мутишь воду, которую я пью?» (*Пересказ сюжета басни Эзопа «Волк и ягненок» на русинском диалекте долины реки Рускова.*)

старались там не дышать.

Пока не дышишь, с тобой ничего не случится.

Буника всегда пребывала в движении — между кухней, хлевом, сараем. У нее в хозяйстве имелись многочисленные куры, дюжина овец, которых пастух скоро выгонит на выпас, и серый, как пыль, осел, которого она называла măgăruș, «ослик». Даже поздним вечером она не находила покоя. Стоя у ворот, беседовала с соседками; ее белая ночная сорочка светилась в сумерках; она гладила белье при свече, подстелив на стол покрывало, брала с собой в поле транзисторный радиоприемник, — даже если все принадлежало сельскохозяйственному кооперативу, она все равно называла это своим полем. Мол, поля отданы во временное пользование государству, а когда дело уладится, они получат их обратно. Приемник работал всю ночь, чтобы отпугивать диких свиней. Надеюсь, не на волне «Радио Свободная Европа», шутил Лев. Ну что ты, говорила она, свиньи должны оставаться коммунистическими.

Буника не сдерживалась, иначе бы ее настигли духи прошлого, черт или страх. Для буники покойники не были мертвыми. Она считала суеверием, смешным заблуждением думать, что покойники не способны свободно перемещаться

между тем светом и этим. Потому к каждому застолью ставила один лишний прибор.

Считалось, что странствующие души не могут вовсе разговаривать или делают это с трудом. Как же тогда возможно, чтобы они просили еды, задавался вопросом Лев. И что, все покойники должны есть из *одной* тарелки? Муж буники, ее сын (его отец), ее родители, деды да и вся ее родова́, ведь все они имели возможность странствовать между мирами. Разве нет?

Его бабушка жила на другом конце деревни. Другой конец деревни располагался чуть выше, а поскольку «выше» всегда означает несколько лучше, жители верхнего края приписывали себе некоторое превосходство. Здесь, на севере страны, все обстояло так же, как и в больших городах: живущие наверху обладали лучшими условиями, чтобы обороняться при нападении, воздух был у них чище и вид из окна красивее. Внизу, как знали все, скапливался — что у вина, что у людей — мутный осадок.

Мать Льва предпочла бы, чтобы между ней и буникой оказалось побольше улиц, а еще лучше — поселений. По крайней мере, они жили так далеко друг от друга, что поход в гости требовал специально одеться. Навещаешь свекровь — на-

девай жакет, одна из любимых поговорок Лиз.

Возможно, они бы никогда не сознались, но, как предполагал Лев, обе женщины испытывали взаимную симпатию; а если и нет, то наверняка привыкли одна к другой за долгие годы. Правда, его бабушка любила выставить напоказ свое превосходство (положение ее дома, ее жизненный опыт, национальность), и лицо Лиз в таких случаях становилось каменным, но в решающие моменты жизни они могли положиться друг на друга.

Буника редко хвалила его мать. А если и хвалила, то говорила: у твоей матери золотые руки. И это было правдой. Лиз умела шить, вязать, вышивать, а когда украшала пирог или красила яйца луковой шелухой, результат в его аккуратности и искусности вызывал удивление. В свою очередь, Лиз признавала, что буника всегда давала дельный совет в трудном положении. Собственно, она знала, как помочь, еще до того, как ты вообще догадался, что попал в трудное положение. Источники своих знаний она держала при себе. Когда Лев еще учился в школе, она его однажды предостерегла. Мол, вскоре его вызовут из класса, поведут к директору, но тот сразу покинет кабинет. Там будут два господина, очень вежливые,

они предложат поговорить — при этом беседовать станет только один, а другой ограничится упражнениями в созерцании. Первый скажет: мол, этот господин хотел бы знать… И последуют всевозможные вопросы, как будто второй немой или очень важный, чтобы самому открывать рот. И Льву тогда не надо волноваться, нужно отвечать на все вопросы только одно: он ничего не знает. И когда заметит, что их вежливость начинает улетучиваться, потребовать, чтобы его вернули обратно в класс. Если они не согласятся, ему надо сказать, что сообщит об этом разговоре своему брату, и назвать имя того.

На вопрос, кто эти господа и чего они хотят, бабушка ответила, что лучше ему не знать.

А как он их опознает?

По серым костюмам и изящным кожаным туфлям.

И Лев почти не удивился, когда несколько недель спустя после этого разговора встретил их в кабинете директора.

Была еще одна определенная деталь, которую следовало знать о бунике.

Она когда-то хотела стать танцовщицей.

Она вышла замуж за человека, которого любила.

Она была ограблена.

Когда буника в семнадцать лет родила своего первого ребенка и после родов вернулась домой, она и ее муж нашли дом опустошенным.

— Они забрали у нас всё, — сказала она. И, как будто никто не понимал, что это означает, повторила: — Всё. — И словно и этого показалось мало, перечислила предметы, которых у нее больше не было. Буника в семнадцать лет стала матерью и лишилась всего. У нее не было сковородок и кастрюль, не было вилок и ложек; не было ни подушки, ни одеяла, ни постели, ни лампы; ни расчески, ни платья. Только мебель осталась.

Супругам пришлось обзаводиться заново всем, но бывшим в употреблении. Что-то пожертвовали соседи, что-то собрали друзья и родня, отчего и появились обиды: родители ее мужа дали сыну только тужурку, в которой чистили двор. Но и в этой тужурке он был красавец, говорила буника. В галерее предков он красовался с импозантными усами, рядом висели портреты их сыновей: отец Льва, который потом погиб при сходе лавины, и дядя Льва, который работал на Черном море (оба с одинаковым самоуверенным, вызывающим взглядом), и когда буника произносила слово «красавец», у нее менялась осанка, словно он

стоял рядом с ней. Брак был счастливым, она давала ему все, что он хотел, когда хотел, — и это имело следствием, что у нее было несколько «выскабливаний», как она это называла.

Может быть, думал Лев, ее беспокойство и неугомонность коренились в этом раннем переживании. Не тогда ли она поняла, что в трудные времена надо полагаться только на себя. И, возможно, поэтому существовала та комната, которая не служила ничему иному, как сохранению вещей, и которая странным и явным образом оставалась нежилой и принадлежала только прошлому.

Дождь стекал по стеклам окон, на подоконнике горела свеча. Краски вытканных настенных ковров были едва различимы. В серванте за стеклом размещался хрусталь: графин для воды, графин для вина, графин для водки, стаканы для воды, бокалы для вина, стопки для водки, рюмки для ликера, а еще тарелки для десерта, вазы и пепельница. Хотя все это с трудом собиралось годами, ничто из этого никогда не использовалось. В открытой боковой части серванта стояли фарфоровые фигурки, расписанные деревянные тарелки и глиняные кружки. На спинке дивана в ряд сидели куклы в румынских национальных

нарядах. У окна висели иконы.

Диван, внезапно потревоженный, недовольно сморщился, и Лев осознал, что он, войдя в эту комнату, невольно сдержал дыхание. Он уже давно не верил в привидения, но и сегодня предпочел бы кухню, где стояли кастрюли, в воздух поднималась мука, а в теплые дни у открытых дверей собирались кошки и ждали, не перепадет ли им чего-нибудь.

Его бабушка поставила на стол бутылку содовой и малиновый сироп, а потом присела так, будто совершает большую жертву. Лев чувствовал затылком взгляды кукол.

Буника не таясь сказала, что до нее дошли слухи, будто те брат и сестра из гостиницы, с которыми Лев и Като годами водили знакомство, находятся под наблюдением, того и гляди будут неприятности, с самого верха.

— Ты имеешь в виду Милену и Камиля?

Он спросил это с нереалистической надеждой, что это не они.

Струи дождя совсем отняли свету комнаты. Буника кивнула, но казалась при этом закаменевшей, словно малейшее движение катапультировало бы ее на обычную орбиту. Лев взял в руки одну из кукол, ее глаза со стуком закрылись.

Камиль должен вести себя тихо, она именно это имела в виду — тихо, не надо ему свистеть в церкви. А что касается его (Лев догадывался, что она скажет), то, по ее мнению, было бы лучше прервать контакт с этими людьми.

Он не может это сделать, ответил Лев.

Буника смотрела на мерцающую свечу на подоконнике.

— Тогда будь хотя бы осторожен. Это не тот случай, чтобы…

— Я знаю.

— Благодарите твоего деда.

Подчеркнутое слово «твоего» обозначило дистанцию, которая отделяла ее от семьи Лиз. Сам упрек был не нов.

С тех пор как Ферри сбежал, они за все говорили спасибо ему.

Снова не хватает одного инструмента, сказал Имре вместо приветствия. Только вчера поступили тиски, и кто-то увел одни из них.

Может быть, они где-нибудь в шкафчике, предположил Лев. Никто бы не мог так быстро утащить тиски.

Он уже велел обыскать все шкафчики, ответил Имре. А тиски не нашлись.

Лев помотал головой, когда Имре предложил

ему водки.

Тот пожал плечами и осушил две стопки. Медленно опустил руку, подошел к полке и поставил стопки на место. У Имре все еще была поступь, словно он шел по лесу: пружинящая, размашистая, не слышно ни одного шага. Он был терпелив, щедр — до известного предела. Его инстинкт подсказывал ему, когда он должен действовать, а когда позволить всему идти своим чередом. Мужчины его уважали. Он различал породу древесины — по структуре и запаху, подобно знатокам вин. Говорил на четырех языках — венгерском, румынском, украинском и немецком; владел ими со всеми нюансами — иронией, юмором, образностью, насколько Лев мог понять это относительно румынского и немецкого; читал по-русски, что объяснялось его происхождением. Он родился в Черновцах, в том году, когда статуя Ленина перед Немецким театром была обезглавлена. Он говорил, что происходит из мест, которые остались лишь в литературе.

Мужчины воровали не из-за нехватки уважения. Это случалось на каждом предприятии, в любой отрасли. Если поставлялся асфальт, кто-нибудь немножко отделял себе, чтобы заасфальтировать собственный выезд. Если привозили

кирпичи, находился тот, кому по случаю как раз требовались кирпичи для его дома. Если появлялись новые тиски, кто-нибудь думал, что и ему тоже нужен такой инструмент. Воровство было формой сопротивления. Почти в порядке вещей, ведь, в конце концов, все принадлежит всем.

За стеклянной перегородкой конторки Имре находился производственный цех. Пилорама стояла тихо, только снаружи мужчины занимались разгрузкой. Сегодня приехала фура с древесиной бука. Сквозь стены, сквозь стекло Лев мог ощущать аромат дерева, теплый, сладковатый, немного с кислинкой. Повсюду лежал слой опилок — на машинах, на инструментах, на мебели, на обуви и одежде.

— Сегодня отметили бы день его рождения, — сказал Имре. Он курил, и когда говорил, изо рта вырывался дым.

Как Лев мог об этом забыть? Сын Имре и он родились в один год и месяц. Следовало бы принять во внимание: водка с утра, раскрытый томик стихов:

Скоро
Вырастет небо
Под травой

Упадут твои сны
В никуда.
Еще…

Для его друга не требовался дополнительный прибор на столе.

Мертвые всегда сидели с ними за столом.

Имре не так легко было убедить. Но строго в назначенное время он подъехал к перекрестку. Като взяла рюкзак и папку. С тех пор как умер ее отец, она неделями оставалась у Камиля и Милены, помогала обслуживать клиентов, рисовала, писала красками. И хотя выказывала обычное рвение, занимаясь этим, временами она казалась Льву потерянной.

Многие долины притоков Изы не были заасфальтированы. И насколько глубоки там оказывались лужи, узнавали, только проезжая по ним. Однако Имре водитель аккуратный. Ничто не выбивало его из колеи, ни одна старуха, несущая свою овечку на плечах по деревне, никакой велосипедист, который продвигался здесь с бесконечной медлительностью. Като правильно истолковала его отрешенность и поначалу даже не пыталась завести разговор. И у Имре было такое же чувство по отношению к Като. Между

ними с самого начала возникло доверие, которое удивило Льва.

Когда они ехали в гору, снова начался дождь, трава поникла, люди спрятались по домам. Стеклоочистители едва справлялись. Имре заглушил мотор, вырулил машину на обочину. Като открыла дверцу мальчику, который шел по дороге, прикрыв голову куском картона. Мальчик сел к ним на заднее сиденье. Они ждали, когда кончится ливень.

В другой раз Имре, в чем Лев не сомневался, предложил бы мальчику отвезти его домой, но сейчас промолчал, когда тот, сказав «спасибо», вышел из машины. Только когда Като осторожно положила ладонь ему на плечо, он пошевелился.

Правильно ли было уговаривать Имре на эту поездку?

Лев не хотел бы оставлять его одного в такой день.

К тому же в эти выходные могли ездить только машины с нечетными номерами. Машина Имре имела как раз такой.

Милена выщипывала себе брови. Она не обернулась, только подвинула зеркало, чтобы увидеть в нем вошедших гостей.

— Проходите же, — сказала она. Это прозвучало

несколько скованно, потому что она держала брови высоко поднятыми.

Като, Имре и Лев вошли в зал, пустой и чистый, на столах тканые скатерти, пепельницы, свечи, которые, однако, не горели. Милена стояла под лампой, свет заливал ее лицо и плечи, тогда как остальное пространство скрывалось в полутьме. Лев мгновенно почувствовал себя хорошо, вероятно потому, что это было неправдоподобное место. Трактир среди гор, в деревне, которая, судя по всему, некогда была весьма крупной. Снаружи он не выделялся среди других деревянных домов, не было ни вывески, ни указателя, ничто не говорило о том, что здесь трактир. А если войти, тут открывалась невероятная глубина — темные деревянные столы, стулья, стойка, барные табуреты, настенные украшения. Каким бы скудным ни было снабжение, у Милены всегда имелись вино, самопальная водка и какая-нибудь еда, которую она могла предложить посетителям.

— Я привез с собой друга, — сказал Лев.

— Вижу.

— Добрый день, — поздоровался Имре. Прозвучало это как-то неубедительно.

Лев поставил на стойку упаковку сахара. За все время, сколько они знали друг друга, он никогда

не приезжал без гостинца.

В зал вошли два завсегдатая, заказали выпивку. Милена выпроводила их, сказав, что закрыто.

— По пятницам никогда не бывает закрыто, — возразил один.

— А теперь бывает, — ответила Милена. — Зайдите позже.

Видя, что ничего не поделаешь, они ушли.

— Ты выгоняешь клиентов? — спросил Лев.

— Но ты ведь не каждый день привозишь ко мне друга.

Пока Лев раздумывал над странным ударением на слове «друг», Като спросила про Камиля. Милена сказала, что ее брат во дворе, занимается хозяйством. В окно они увидели, как Камиль загоняет двух лошадей с костлявыми боками. Като выбежала к нему, невзирая на дождь, поцеловала. Он обнял ее, приподняв с земли. Когда Камиль, войдя в трактир, заметил Имре, его левый глаз дернулся.

— Cum ești, ce faci?

— Fac supa de clopot.

Спросив Камиля, как он, что делает, в ответ услышишь: варит суп из колокольчиков. Като терпеть не могла, когда он использовал этот речевой оборот. Однако Камиль сказал, что по

каждому из нас однажды зазвонит церковный колокол.

Лев дал ему понять кивком головы, что хочет с ним поговорить с глазу на глаз. Камиль взял из рук сестры полотенце, вышел под навес на заднем дворе. Лев передал ему предостережение своей бабушки. Из предосторожности сделал несколько дополнительных уточнений, как человек, запутывающий свои следы. Камиль только раз видел бунику, но этого хватило, чтобы всерьез отнестись к ее словам.

Дождевая вода капала с волос Камиля. Он был на четырнадцать лет старше Льва, рослый, массивный мужчина с таким теплом в глазах, как будто позади них горел костерок. Никто не знал точно, чем, собственно, занимается Камиль. Он мог раздобыть все что угодно — паспорта, документы, а Льву во время его службы в армии, бог знает откуда, раздобыл водительские права для инженера-строителя туннеля. После того как Лев отдал инженеру водительские права, его отпустили из туннеля — он даже смог выхлопотать для молодого солдата, которого взялся опекать, передислокацию.

Камиль молча вытер свои мокрые волосы. Лев принял участие в этом молчании так, как будто

продолжал их разговор. Он был благодарен Камилю, тот нравился ему. Но сохранялась некая дистанция, которую они не могли преодолеть, а может, и не хотели.

Он сделал над собой усилие, ради Като.

Та зачерняла угольным мелком пространство на листе бумаги.

Ее манера держаться выражала и отстранение, и симпатию одновременно, бегство. Кому еще, как не Льву, знать, сколь сильно она нуждается в этом побеге. Камиль принес краски, бумагу, похвалил, сделал замечания. Лев не владел этим языком. Картина в его восприятии была красивая или нет. А для промежуточных состояний он не знал слов.

Вечером зал трактира заполнили посетители. Те два мужика, которых Милена прогнала, пришли снова; остальные — это жители деревни и окрестностей. Люди пили, играли в карты. На новостях Милена уменьшила громкость радио, но не выключила его совсем. Выключить было бы слишком откровенным жестом.

В десять часов Имре дал понять, что пора уходить.

Милена переглянулась со своим братом.

— Ты не можешь уйти, не отведав моей само-

гонки, — решил Камиль.

Когда оба осушили свои рюмки, Камиль долил еще.

— Одной достаточно, — отговаривался Имре.

— Так тебе понравилось или нет?

Пора ехать, сопротивлялся Имре.

Тем более надо подкрепиться на дорожку, возражал Камиль. Всякое возражение отметалось, и если на Имре алкоголь возымел действие, Камилю, казалось, все было нипочем. Лев целый вечер высматривал тревожные знаки из-за предостережения буники. Если таковые и имелись, Камиль хорошо их скрывал. Като, похоже, не особенно интересовалась этой игрой в питье, Милена же не спускала глаз с обоих.

Вскоре надобность в дальнейших уговорах отпала.

В этот вечер уже никто никуда больше не поедет.

Когда разошлись последние посетители, Милена сдвинула столы в сторону и пригласила Имре потанцевать. Лев танцевал с Като. Мелодия была быстрая, они кружились. Като смеялась. Потом вопросительно посмотрела на него. Он уже давно не навещал ее, ссылаясь на работу, и действительно ему часто приходилось задерживаться

на пилораме допоздна. Не из-за того, что Имре ждал от него переработки, а потому что он сам любил работу. После его лета на лесоповале он знал, что ему нравится работать с древесиной, а конторская часть дел давалась ему легко. Но если бы Имре не спросил его после армии, не хочет ли тот помогать на пилораме, неизвестно, какой путь он бы выбрал.

Ты ждешь слишком многого, сказала ему мать. Так, да не так. Он ждал, подобно всем, конца этому времени. Ждал по утрам, не понадобится ли что-нибудь Лиз или бунике. Ждал в очереди масла или хлеба. Ждал весны, дождя, конца своему одиночеству.

А Като? Иногда она казалась счастливой, чуть ли не беззаботной. А потом снова становилась нерешительной, сомневалась. Но в отличие от него обладала тем, что ею двигало, наполняло ее, — очевидным талантом. Это, кажется, понял даже ее отец, который заказал ей картину его пасеки, хотя пчел у него уже давно не было. Понял слишком поздно.

— Милене он нравится, — сказала Като.

— Да?

Она посмотрела на него с насмешкой:

— Как можно было этого не заметить?

Камиль курил, привалившись к стойке, Милена и Имре почти не двигались, но Лев не смотрел в их сторону, больше никуда не смотрел, только в светло-серые глаза, на эти три родинки — ряд, который, как он знал, продолжается на шее, на груди и на животе.

Лев не возражал провести здесь ночь. Като оставалась до первого мая, и если Имре не придет утром вовремя на пилораму, то и ему не обязательно. Для него уже приготовили диванчик, полуслепое зеркало у двери поймало его фигуру, когда он наугад взял с полки несколько книг. Комната походила на продолжение тела — будто тебе позволено проникнуть в собственное нутро. Хотя Лев был утомлен, он не мог уснуть. Снаружи на асфальт лилась вода из дождевого желоба на крыше.

Когда он, возвращаясь из туалета, проходил мимо комнаты Милены, услышал за дверью голоса, дыхание открытых ртов, полусдавленный смех. Изголовье кровати толкалось в стену, шуршали простыни и подушки. Он так и видел перед собой спину Милены, ее изогнувшийся позвоночник, ее белые, голые руки. А Имре? Он, должно быть, лежал внизу, иначе звуки были бы другими, жестче, быстрее; должно быть, лицо его расслаб-

лено, глаза полузакрыты.

Бывали дни, когда его друг пропадал и упорно молчал. После этого следовала бурная деятельность; ничто для него не было слишком рискованным: высвободить из механизма заклинившее бревно, валить деревья в непроходимых местах, помогать всем и каждому. Имре всегда держался ближе к смерти, словно так становился ближе к сыну. Лев с трудом воспринимал такую скорбь. Надеялся, что она со временем уйдет, ослабнет, но она была слишком сильна.

Он замер у двери Милены, неспособный двигаться дальше, слушал дыхание обоих, звуки, которые превращались в образы, пока Имре не кончил.

Она же хотела его с первого взгляда, подумал Лев.

Вернувшись на свой диван, он стал думать об Астрид. В нем ожили вожделение и чувство вины. Почему они не съехались, спросила тогда Астрид, и внезапно до его сознания дошло, что он себе это и представить не мог. Астрид была из Шессбурга, однако город, в котором росли его мать и его дед. не имел ничего общего с его жизнью в деревне. Смешать две эти жизни невозможно.

Однажды под вечер она сидела за кухонным

столом деда, тот очень скоро под каким-то надуманным предлогом ушел к себе в мастерскую и оставил их вдвоем в натужной тишине. Лев рассердился от этой столь явной попытки сводничества и подумывал, не уйти ли ему немедля, но понял, что она, вопреки ожиданию, ему нравится. Она была воспитательница, светлые волосы, почти белесые ресницы и внимательная, доброжелательная манера задавать вопросы и выслушивать, отчего он легко доверился ей.

Они ходили гулять, в кино, все происходило с безусловностью, какой он еще не ведал. Его удивляли ее честность, чуткость и прямота. Когда он ей об этом сказал, она засмеялась. А говорил он это часто. Ему хотелось, чтобы она знала, какой красивой представала в его глазах, какой желанной.

— Должно быть, ты влюблен, — сказала она.

Но это правда, ответил он.

— Ты имеешь в виду влюбленность или красоту?

— И то, и другое.

Астрид добыла себе из Германии пилюли, друзья провезли через границу, зашив в подгиб пальто. Льву нравилось, как она могла отдаваться, как ее тело отзывалось на его прикосновения;

она показала ему, что для нее важно — продолжительность, определенность, чувство надежности.

Он чувствовал себя в ее семье раскованно, поскольку там было безмятежнее, чем в его собственной, и все чувствовали естественную общность. А когда Астрид бывала у него, его мать радовалась, пекла, накрывала стол, а Лев изо всех сил отстранялся оттого обещания, которое заключалось в таких посещениях. У нее хватало ума, чтобы заметить это, но она требовала решения, и он не знал почему. Разве нехорошо оставить все как есть? Астрид настаивала на следующем шаге, но то, что должно было стать началом чего-то нового, воспринималось точно конец всему.

Лев не выказывал свои сомнения, был уклончив, брал свои слова, данные ранее, обратно. Однажды вечером приехал к ней издалека, бросал ей в окно камешки и звал ее за ворота, но то, что он заготовил, никак не выговаривалось. Астрид стояла перед ним босая, в ночной рубашке; они молча смотрели друг на друга, он боролся с собой и ушел оттуда снова со всем тем, что собирался сказать.

Она ясно дала ему понять, что его нерешительность имела значение. Когда он в последний раз заехал за ней, ее не оказалось дома или она сдела-

ла вид, что ее нет. Камешки в ее окошко остались без отзыва, никаких шагов на лестнице, никакие ворота не открылись. Он принес бы ей цветы, книги, все, что она хотела, только бы она приняла его обратно. Его манило в постель к Астрид, и он вдавливал в диван нижнюю часть своего тела, пока оно не успокоилось.

На следующее утро Имре и Лев поехали прямиком на работу. Като осталась в горах. Она поцеловала его, как всегда, на прощание в губы.

— Позвони, когда мне приехать за тобой, — сказал он.

Камиль проводил их к машине, чего никогда раньше не делал, обнял его, и Лев видел его фигуру в боковом зеркале, пока машина не свернула.

Всю поездку они промолчали. Единственными звуками были шум мотора и дворников. Лев догадывался, о чем думал его друг, улыбался, быстро потирал лицо руками, но Имре все-таки заметил его ухмылку. По крайней мере с этого момента Имре знал, что Льву все известно.

На пилораме механизмы не работали. Пол, который обычно всегда вибрировал, оставался в покое. Ни на выгрузке, ни на подаче или у механизмов никого не было. Тишина в высоком, открытом с одной стороны помещении отвечала

реальности. Все всегда должно идти вперед, в золотое будущее, но между лозунгами и действительностью зиял разрыв, и он становился все больше.

Имре призвал к ответу прораба, Якоба.

Якоб сказал, мол, было непонятно, что с поставкой древесины. И рабочие разошлись по домам.

Имре не проронил больше ни слова. Перед Якобом он сдерживался. Это как-то касалось цифры, вытатуированной у Якоба на предплечье.

Когда Лев удивился, как сдержанно Имре воспринял остановку производства, тот сказал, что в битве при Мохаче потерь было куда больше. Что означало приблизительно следующее: могло быть и хуже.

Остаток дня они занимались бумагами, разбирали заказы, счета, накладные, больничные листы, изменения в законодательстве, а Якоб тем временем затачивал режущие полотна пил. Когда они управились, Имре проводил Льва к выходу.

— Когда ты ее снова увидишь?

— Завтра, — сказал Имре без промедления.

Лев натянул на голову капюшон, вышел наружу под дождь. Когда он обернулся, то увидел, как Имре закуривает сигарету. Спичка озарила его

лицо, осветила улыбку.

Во время православного богослужения люди то и дело осеняют себе крестным знамением. Когда входят, когда целуют иконы, во время псалмов, перед песнопением, после песнопения, когда молятся, когда обращаются к священнику. Всегда.

Люди приходили и уходили, зажигали свечи (за живых в подсвечнике, за усопших в песке), становились на колени, вокруг бегали дети, монеты звенели о ящик. Лишь немногие оставались на всю службу, которая и в нормальные-то воскресенья могла затянуться на два-три часа. Несколько пожилых женщин сидели у стен; они держались прямо; закинуть ногу на ногу не дозволялось. Буника стояла. Так она показывала Богу, что принимает Его всерьез, а крестным знамением — что все ее тело молится, а не только разум.

Благодаря ей Лев вообще присутствовал тут и мог причащаться. Он не знал, как она это устроила, протестанты и католики сюда не допускались. Когда священник протянул ему в ложечке хлеб и вино, ему почудилось, что тот смотрит на него недоверчивым, осуждающим взглядом.

Буника настояла на том, чтобы ее младший внук, хотя и крещенный в евангелическом обряде, за что он, конечно, не нес никакой ответствен-

ности, познакомился с православной верой. Это привело к разборкам, но с годами Лиз перестала препятствовать, и потому Лев ходил и на протестантские богослужения, когда бывал у Астрид, и в местную православную церковь. Бог, решил он, не стал бы возражать, ведь в обеих церквях человек распят на кресте. На Рождество он со своей матерью ходил в католическую церковь, где каждый год давали «Ирода великого», а на Пасху иногда вели службу на рутенском наречии. Он любил особенно эту церковь, уединенность горной деревни, ее название: Poienile de sub Munte — не рядом с горой, не на горе, а под горой.

Внутренность деревянной церкви напоминала трюм корабля, церковная башня своим острием касалась неба. Бывали службы — словно ритм дыхания, в котором расшитые золотом одеяния, свечи, благовония, пение, эта смена обрядовых действий, тишина и молитва давали ему чувство, что он переживает нечто подлинное, чего он не ведал. Буника видела это. Она воспринимала происходившее с тихим удовлетворением, будто речь шла о решающем соперничестве. Почему в немецких церквях стояли скамьи, для нее оставалось загадкой. Ведь приходишь сюда не кино смотреть, говорила она, и ты ведь тут не в

университете, а Лев сомневался, что его бабушка когда-нибудь была в кино или в университете.

После богослужения буника подзывала жестом мужчину, который ехал на телеге по улице. Вероятно, после долгого стояния у нее болели ноги, но она в этом никогда не признавалась. Раньше она ездила в церковь верхом на своем сером ослике, но теперь и он состарился и целый день стоял у солнечной стороны деревянного сарая. Льву, однако, не позволялось приехать за бабушкой на машине — в церковь на автомобиле не ездят.

Они расположились в телеге, подстелили газетки — из-за сырости. Позади них громоздились ящики с пустыми бутылками от содовой. Лев держал зонтик над собой и своей бабушкой и курил. Буника не задержалась подле церкви, как бывало после службы, даже остановила одну женщину, которая целеустремленно и уверенно двигалась к ней с явной порцией сплетен. Она молчала всю дорогу, а ведь обычно что-нибудь рассказывала, когда им случалось ехать вместе. Истории буники запечатлены в пейзажах, вписаны в дома, деревья, ручейки. Вот ворота, где русские в первый же день расстреляли одного. (Достаточно было расстрелять в деревне только одного, тогда повиновались все.) Вон там укрытие, в котором сперва

прятался еврей, потом солдат вермахта, потом сакс и, как знать, может, и румынский партизан.

Она не спросила, предупредил ли он Камиля. Ее слова — только констатация, но не расследование. Если что-то уже сказано, можно его опустить, оно более ей не подвластно. Как-то Лев спросил, откуда ей это становится известно. Знание исходит из тела, из всего тела, сказала она, а большинство людей, к сожалению, никогда не выходят за пределы своей головы.

Телега остановилась у ворот дома буники. Лев помог бабушке спуститься на землю. Чаще всего она звала его пообедать, но сегодня приглашения не последовало, вместо этого она спросила, не видел ли он хотя бы одного дождевого червя.

Лев подумал, что ослышался.

Буника сдвинула головной платок к макушке, указала на землю:

— Обычно здесь было полно дождевых червей.

Теперь, когда он над этим задумался, она оказалась права. Он тоже не видел дождевых червей.

Когда Лев в конце улицы оглянулся, буника все еще стояла у ворот и испытующе вглядывалась в небо.

Первое мая пришлось на четверг. Ради праздника Халил подарил ему голубя. Лев обнаружил

его на коврике у своей кровати. Он поднял его, птица закаменела от ужаса, сердце у нее колотилось, но она была жива. И невредима, насколько он мог видеть. Лев осторожно посадил ее на подоконник.

Халил, должно быть, считал его исключительным придурком; за все годы Лев не научился ни самостоятельно охотиться, ни особо радоваться птичьим подаркам. Маршруты Халила в последнее время удлинились, иногда он не бывал дома целый день, а то и два. Мать Льва Лиз говорила, что кошки никогда не принадлежат кому-то одному. У кошки всегда несколько кличек, самое меньшее три: та, которую она носит дома, затем та, которую ей дали другие, убежденные в том, что кошка принадлежит им (потому что она приходит поесть, при случае даже спит на прикроватном коврике или в кресле), а также то имя, которое знает только она одна. Поэтому кошки такие непривязчивые. Только тот, кто знает ее тайное имя, говорила Лиз, имеет над ней власть, — и Лев надеялся, что Като была близка к этому пониманию, когда давала имя коту.

Праздник труда они провели на Изе. Накануне небо наконец прояснилось, ручьи и реки разбухли от воды, луга насытились влагой. Бог

погоды был на их стороне, сказала Анюта, которая прибилась к его семье. Она каждый год жила у кого-нибудь. Лев считал: его сестра Бредика и ее муж Ион, трое их детей (все унаследовали от матери густые темные волосы, в особенности его племянница, похожая на пугливого зверька), его братья Валеа и Дорин, жена Дорина Сильвия, ее новорожденный, его мать, его бабушка, Анюта и он сам. Девять взрослых, трое детей, один грудничок. В нескольких метрах дальше расположилась следующая группа. Этот день все проводили на природе.

Расстелили пледы, Ион и Валеа хлопотали с грилем, раздували жар, что удавалось не сразу, поскольку древесина намокла. Муж Бредики единственный, кому нравилось общество Валеа.

Это место присмотрел Дорин. Он был здесь вместе с лекторами, которые разъезжали по стране, чтобы заниматься «окультуриванием народа», и чаще всего встречали пустые залы. Только Лев и Бредика знали эти истории. Перед своим старшим братом, который подолгу заседал в каких-нибудь собраниях, к каждому обращался со словом «товарищ» и с недавних пор носил шляпу вместо кепки, Дорин никогда бы не признался, что крестьяне сторонились тех мероприятий, а

в протоколы заносились какие-нибудь фиктивные числа посетителей перед тем, как пойти рыбачить.

Лиз спрашивала, знает ли кто-нибудь, почему в магазинах прибавилось товаров. Было непривычно много фруктов и овощей. Даже за молоком, подтверждала Анюта, теперь горожанам не приходилось стоять в очереди. Ответа никто не знал, а Валеа, который один всегда имел что сказать, сосредоточенно шевелил кочергой угли.

Колыбель закрепили на ветке дерева. Грудничок держал глаза открытыми, но еще не мог ничего разглядеть, как объяснил Дорин. По традиции детей пеленали с головы до ног. Лев на собственном теле чувствовал паралич мальчика.

Жена Дорина Сильвия выглядела истощенной, отсутствующей. Одной рукой она качала колыбель, не глядя на дитя. Со времени родов она почти не говорила; хватало пустяка, чтобы довести ее до слез. При первом посещении родных после родов она передала грудничка им, как будто не знала, что ей с ним делать, и Лиз была первой, кто подумал о ножницах, чтобы остричь ногти младенцу, щеки которого были уже расцарапаны.

Лев подсел к Сильвии, затеял с ней разговор,

но говорил только сам, пока его не подозвал к себе Дорин.

— Ты что, не видишь, она устала?

— А ты не видишь, что она не в себе? — ответил Лев.

— Она вымотана, только и всего.

Эта женщина не выглядела уставшей.

Лев это понял по ее взгляду, обращенному внутрь себя.

— Присмотри за ней, — сказал Лев. — Пусть поменьше трудится.

Что это значит, спросил его брат; ему теперь торчать на кухне или как? Его тон не соответствовал жестам. Он казался напряженным, обычно открытое и доброжелательное лицо отяжелело.

— Ну, хотя бы так, — невозмутимо сказал Лев.

Буника присела на камень и чистила картошку. Она умела снимать ножом аккуратные змейки из кожуры. Чтобы встать, ей требовалась помощь.

— Только не старейте, — сказала она детям, которые подбирали ее очистки и развешивали их на кусты, как гирлянды. — У возраста тяжелая одежда.

На лугу цвели яблони. Иза была неспокойно подвижна, на ее берегах через каждые двадцать-тридцать метров сидело какое-нибудь семейство.

Племянница Льва и два его племянника побежали в воду, хотя отец предупреждал их, что она еще холодная.

— Иди к нам! — звали они Льва.

Лев закатал штанины, забрел в реку. При этом брызгал водой, как бы невзначай, в их сторону. Уже скоро ему пришлось спасаться на камне. Дети, казалось, не чувствовали холода. Они строили запруду, для которой Лев подтаскивал камни, наблюдали за рыбами, которые появлялись, только когда дети неподвижно замирали; пытались сделать на берегу песчаный пляж, искали блестящие камешки, говорили, что это серебро. Потом его племяннице стало холодно, он вывел ее, остался с ней стоять на мелководье у берега, пока холод в его ногах не превратился в колющую боль. В какой-то момент перестал думать о Като (он экономил свой запас бензина на тот случай, если она захочет, чтобы он заехал забрать ее обратно), не думал о ссоре с Астрид; не думал о неразберихе на пилораме, больше ни о чем не думал.

Было мясо, жаренное на гриле, картошка и салат из зелени, а на десерт пироги и шоколад из последней посылки от Ферри. После еды буника и Анюта помыли посуду в реке. Бредика по настоянию детей принялась рассказывать очередную

историю. Лев слушал вполуха: двенадцать братьев превратились в вороных коней, а их сестра спасла их от плавучей горы.

Лиз лежала на подстилке в траве и читала, вытянувшись на спине и поднеся книгу к лицу. По обложке книги бегали тени от деревьев; ее лицо, хорошо затененное, хранило выражение такой расслабленности, что Лев не мог отвести глаз. В такой день, в окружении историй и разговоров, погрузиться в книгу удавалось только ей. Как она находила здесь покой? Как она могла жить в круге этой семьи двадцать с лишним лет, оставаясь вечно чужой? Она находила общий язык с большинством соседей, у нее было несколько подруг. Довольствовалась ли она этим? Не скучала ли по своему отцу? По городской жизни? Льву это казалось странным, как будто его мать нашла здесь убежище, только он не знал, от кого и почему она бежала.

Сказка про плавучую гору заканчивалась тем, что сестра и братья получили коня, по-настоящему бесценного. Племянники Льва благоговейно слушали, сидя на пледе, его племянница покусывала прядь волос их матери. Бредика закончила словами, что ей и самой хотелось бы иметь такого коня.

— Тогда бы мне не пришлось варить, стирать белье и каждый день рассказывать вам сказки.

Дети смеялись, Бредика встала и пересела за спину жены Дорина. Она принялась поглаживать ей плечи, массировать ей затылок легкими, плавными движениями.

Сильвия закрыла глаза, опустила руку.

Теперь колыбель покачивал ветер.

Теперь и младенец закрыл глаза.

Като ждала на скамье у ворот. Он хотел расспросить ее, как она провела этот праздничный день, как добралась до деревни, однако Лиз, которая оценила ситуацию быстрее, подала ему знак и пригласила ее в дом. В его комнате Като упала на кровать, и, когда он закрыл дверь за матерью, принесшей им тарелку пирогов, его пронзила догадка, но он ничего не сказал, только ждал, когда она расскажет сама.

Она сняла туфли, откинулась назад, Халил приник к ней, и все было почти как раньше. Порой они проводили целые дни на его кровати, и это воспоминание пробудило улыбку, которую он вовремя успел погасить.

— Камиль пропал, — сказала Като. — Со вчерашнего дня.

Должно быть, он рано уехал, потому что, когда

они проснулись, того уже не было. Не оказалось еще одной лошади, рюкзака и кое-чего из одежды, насколько могли понять Като и Милена. А накануне он вел себя странно, отчужденно, будто хотел всем испортить удовольствие, даже сказал что-то пренебрежительное о ее рисунках.

— Это не похоже на Камиля, — заметил Лев.

Она погладила кота, стараясь при этом не глядеть на Льва.

Его пронзило чувство вины. Ведь именно он предостерегал Камиля; тем самым был причастен к его исчезновению и теперь боялся, что Като заподозрит это. Однако Лев не мог ей ничего рассказать, она бы тогда начала допытываться у буники, а его бабушка не выдает своих источников.

Заходил Имре, сказала она, и другие друзья в течение дня. Разговаривали среди фруктовых деревьев, Милена надеялась, что кто-нибудь слышал о планах ее брата или был посвящен в них. Им следовало соблюдать осторожность. Подразумевалось, что один из пяти тебя обязательно выдаст.

Он не оставил ни записки, ни письма ни для нее, ни для своей сестры. Като съела кусочек пирога Лиз, но, пока жевала, у нее по щекам

бежали слезы. Лев осторожно взял у нее из рук тарелку, подсел и обнял. Халил переместился к изножью кровати, с такой большой печалью он еще никогда не сталкивался. Ее плач утих, и Лев услышал свой голос; он говорил, что Камиль скоро вернется. Он сказал это ей и себе, при этом у него возникло чувство, будто он держит во рту ледяную сосульку.

— Мне можно остаться?

— Конечно. На столько, на сколько хочешь.

Они улеглись. Ее волосы щекотали его, рука у него занемела, но он не разомкнул объятие. Като впала в беспокойный сон; скоро и он задремал, во сне видел Камиля в машине, в лесах, в подвале. Ему снилось озеро, посередине которого плавала гора. Гора медленно вращалась вокруг своей оси, а на берегу стояли Като и он, не понимающие, как им попасть на нее.

Незадолго до полуночи Халил запросился наружу. Лев осторожно отделился от Като и вышел в прихожую, чтобы открыть коту входную дверь. То, что он увидел, походило на сон: на столе горела свеча, буника и Лиз молча сидели друг против друга, его бабушка в странно искривленной позе, как будто хотела немедля встать и уйти.

Как сказала буника, она что-то услышала, ко-

гда относила портативный радиоприемник в кукурузу, «ну, ты знаешь, отпугивать диких свиней». По недоразумению радио было настроено на волну «Свободной Румынии». Ее голос был чуть громче шепота, а слова «по недоразумению» она подчеркнула многозначительным взглядом. Лиз не выглядела удивленной, буника явно уже поделилась с ней этой новостью.

На атомной электростанции под Киевом произошла авария. Русские скрывают подробности, даже от собственного населения. А за границей уже три дня как знают о случившемся. К сожалению, она будет в кукурузе только сегодня вечером, из-за дождя, и только поздно, потому что ее соседка…

— Что ты еще слышала? — перебил ее Лев.

— Там взорвался реактор. Высвободившийся яд не имеет ни цвета, ни запаха. Он распространяется по воздуху, его разносит ветер, — она запнулась, — и дождь.

Вот уже несколько дней шли дожди, подумал Лев, и сегодня — дети в реке. Холод воды, серебряные камешки, песок. Он почувствовал, как немеют ноги, и подтянул к себе стул. Почему их никто не информировал? Почему страны не работают сообща? Какое значение вообще могут

иметь границы в таком случае?

Буника и Лиз тоже смолкли и предались своим мыслям. Его бабушка внезапно показалась ему очень уставшей. Он протянул руку через стол, буника посмотрела на его руку и взяла ее, помедлив. Лиз тоже подала ей руку.

— Все как и всегда, — сказала она. — Как в театре, где ставят одну и ту же пьесу. Но людям не надоедает ее смотреть. Они ходят на спектакли, страдают, уповают и аплодируют, если большую катастрофу только что предотвратили.

— А хуже всего, — продолжила буника, — что люди думают, будто чему-то научились. Когда им кажется, что времена станут лучше, а сами они поумнеют. Все повторяется, все возвращается, только имеет другое лицо.

Лев попытался сообразить, какие последствия будет иметь это событие, подумал о Като, спящей в его комнате, об исчезновении Камиля и почувствовал себя так же, как в детстве, когда ему предстояло вступать в замершую горницу буники. Когда требовалось оттуда что-нибудь принести, братья посылали его — ведь он же не боится? В сумеречно-тихой комнате мебель казалась грозной, напоминавшей застывших великанов, и он не дышал из страха, что вдруг

кто-то схватит его за плечо.

Почему так важно было задерживать дыхание?

Почему эти духи тогда ничего не могли ему сделать?

Очень просто, слышал он голоса своих сестер.

Кто не дышит, тот уже мертв.

На следующий день он узнал из румынских новостей, что на атомной электростанции имени Ленина недалеко от Киева произошла авария. Детям в школах дают таблетки йода. Следует избегать пребывания на улице. Нельзя собирать грибы. Овощи и фрукты нужно тщательно мыть, от молока отказаться. В остальном для населения нет никакой опасности или угрозы.

Пять

Prin pădure trece-mi-oi
Frunză verde ciunta-mi-oi
Și pe vale și pe grui[6]

Ничего.

Проклятье.

Он ничего не видел.

С лобовым стеклом просто катастрофа. Удавалось что-то различить лишь в промежутках, когда Като вытирала стекло тряпкой, смоченной в водке. Отпечатались ли эти дороги хоть как-то в его памяти? Или он ехал наугад? Как бог на душу положит? Когда они останавливались, чтобы сориентироваться, то в занесенной снегом глубине неба виднелись лишь очередные холмы.

Като намочила тряпку в водке, вышла, протерла стекло. Сквозь образовавшийся глазок обозначились формы, очертания, серое в сером, белое в белом, потом лед снова замкнул круг сво-

---

[6] Примечания: 6

Сквозь леса я пройду,
Досыта нагляжусь на их зелень
В долине и на горах.

(*Слова из песни Марии Тэнасе «Doină Din Maramureș»*.)

ими холодными пальцами. Лев ехал несколько секунд в никуда. Ругался.

— Сколько еще осталось?

— Достаточно, — ответила она тем слегка размытым тоном, который дал ему понять, что она тоже сомневается.

Не было видно ни души, ни еще какой-либо машины. Казалось, они единственные безумцы, кто выехал в такую погоду. Через некоторое время после этого показались дома. Като возликовала: «Mișto!» — и сделала глоток из бутылки. Лев поехал медленнее, если это вообще было возможно; они таращились на ограды и дворы, которые выглядели пугающими, заброшенными, пока не показался свет.

Слабая полоска, но все же свет.

Лев пошел вперед и с удивлением обнаружил трактир. На столах горели свечи. Язычки пламени задрожали, потом снова выпрямились, когда Като закрыла за собой дверь. Трое мужчин и одна женщина собрались у радиоприемника. Женщина повернулась к ним, бросив небрежно-оценивающий взгляд. Тепло помещения пригвоздило Льва к порогу. На волосах Като таял снег, она тоже не шевелилась, уставившись на увиденное. Так бывало всегда, когда приемник

играл какую-нибудь песню Марии Тэнасе. Люди затихали, некоторые закрывали глаза, другие таращились в пустоту, подперев голову рукой, что-то менялось внутри, исчезало или собиралось в единое целое.

Голос у нее был терпкий, не классически красивый, нежный и величественный, она пела о любви или о застолье, ее песни простирались от Марамуреша через Трансильванию до Валахии. Ей запретили выступать, ее песни не разрешали транслировать — и это, как видно, сработало. Песня закончилась, только треск из приемника обмерял помещение, но группа людей неподвижно замерла. Лев и Като также остались в дверях, не в состоянии нарушить картину.

Эта тишина, подумал Лев, рождается из звуков, и она все еще говорит о них, насыщенная и цельная, и ей еще предстоит испариться, словно дыму.

Женщина прервала немоту.

— Что вам здесь нужно?

Это звучало не враждебно.

Вина, что это такое?

Не было никакой вины, лишь череда решений.

У Льва был отпуск из армии, и он в первый же вечер подъехал к ее дому на машине своего деда.

Не успел он выйти, как увидел ее тонкую фигурку на дороге. Като пробегала мимо грушевого дерева так близко от качелей, что те даже покачнулись; перешагнула через низенькую ограду, которая в нескольких местах уже склонилась до земли. Пассажирская дверца распахнулась, Като протянула ему бутылку и воскликнула: «Поехали!» Когда он спросил куда, ее ответ был: oriunde — куда глаза глядят.

Они поехали в гору, поворот за поворотом, несмотря на снег, который начал падать; прихлебывали водку, пока не согрелись и не потеряли представление о том, где находятся.

— Вам ни в коем случае нельзя уезжать, — определила женщина, выглянув в окно. — Поедете завтра утром, если что-нибудь сможете увидеть.

— Но мне нужно сегодня вернуться, — тихо сказала Като.

— Тебе, сокровище мое, вообще ничего не нужно. Или ты хочешь, чтобы мы завтра зажгли заупокойную свечу?

Милена, так ее звали, подала им овощной суп. Водки не налила, потому что от обоих несло, по ее словам, как из ее шинка на Вознесение.

Двое мужчин попрощались. Того, который остался, Милена представила как своего брата. У

Камиля, лет тридцати на вид, были средней длины волосы и крепкое телосложение. Выглядел он мрачным. Так, будто незадолго перед тем узнал о каком-то несчастье. И он страдал нервным тиком: его левый глаз дергался.

В выстуженной комнате верхнего этажа для них разложили диван. Лев немного озадачился, потому что диван оказался двуспальным. Что, какая-то проблема, притворно спросила Милена, но не стала дожидаться ответа.

Большой стеллаж с книгами, картины по стенам. На спинке стула висели льняные полотенца. Като взяла одно, поднесла к лицу, вдохнула, потом упала на диван — прямо в одежде. Лев умылся над раковиной, разулся, снял брюки и лег под одеяло, что удалось не сразу, поскольку Като не сделала попытки подвинуться. Потом все-таки поступила так же: умылась, разделась.

Он ощутил холодные ноги, которые протискивались между его ногами.

На первые деньги, заработанные на лесоповале, он купил ей ботинки. Като уставилась на них — не двигаясь, не произнося ни слова. Наконец сказала: «Ботиночки».

Только когда он тоже сказал «ботиночки» — так, будто это слово лишь сейчас вошло в их лекси-

кон, она стянула с ног старую обувь и надела новую, осторожно, точно та была стеклянная, завязала шнурки бантиком, медленно, как делают дети, — это не изменилось и по сей день. Сделала несколько шагов, осторожно обходя камешки, потом зашагала быстрее, затем, прокрутившись, села на пол и потрогала кожу. Она вытянула ноги, постучала носочками один о другой, вскочила, принялась бегать, будто это ботинки привели ее в движение. Сначала одна нога очерчивала в воздухе дугу, потом — другая, в промежутках в какой-то миг в воздухе находились обе ноги, а Като чувствовала себя невесомой.

Она никогда не говорила «спасибо».

Да ей и не нужно было.

Чаще всего он делал свои подарки мимоходом (тетрадь, чашку, тонкие колготки, которые она, однако, так и не носила) и тут же менял тему. Иногда прятал их, так что Като находила подаренное не сразу. Они никогда не говорили об этом, но он замечал, когда она обнаруживала припрятанное, потому что ее лицо отражало радость находки. Он не мог насмотреться на ее лицо, которое менялось в одно мгновение: от восторженного к задумчивому, от серьезного к эйфорическому. Притом чувствовалось некое

превосходство, непонятное ему, хотя он знал это лицо лучше, чем любое другое на этом свете. Теперь она была почти одного роста с ним, ее руки и ноги стали длинными, а вот глаза совсем не изменились. В них светилось что-то ясное, любопытство, хитрость, непреклонность.

Он вытянул руку, Като положила голову на сгиб его локтя.

Было достаточно светло, чтобы рассмотреть мебель, книги, различить силуэты их тел под одеялом. Като повернула к нему голову и вздохнула. Ее дыхание касалось его шеи, ее ноги лежали на его ногах; сейчас, подумал Лев, сейчас, и повернулся к ней. Он начал нежно-беспокойно приставать к ней. Его рука скользнула по ее шее, плечам, он целовал ее щеки и глаза. Разомкнул языком ее губы. Во рту у нее — влажная горькая сладость. Как вкус незрелых лесных орехов. Она не возразила, не отпрянула, и этого ему было достаточно, чтобы почувствовать себя ободренным. Он перекатился на нее, следя за тем, чтобы холод не проникал под края одеяла, ощутил ее грудь, которую так часто видел во время купания, ощутил ее бедра, тепло ее живота. Он прижался к ее тазу, застонал.

— Лев… Лев!

Следующее утро выдалось ясным, небо чистое. Лев чувствовал себя на свету беззащитным; он закрыл глаза в надежде, что все его тело теперь спрятано за веками. Молчание стояло колом на столе между ними. В зале трактира еще сохранялся запах морозного дыма. Камиль сидел в сторонке у окна, наблюдая в подзорную трубу за птицами. Милена подала им кукурузную кашу с молоком, и они, голодные, съели ее.

Не смотреть на Като в то утро было особым искусством. Не смотреть, как она одевается, не заметить, как пальцем прорисовывает на оконном стекле очертания ледяных цветов, как рассматривает себя в мутном зеркале у двери, вежливым жестом пропустить ее первой в ванную, а во время завтрака незаметно смотреть мимо нее косящим взглядом, замечая все: подметенный пол, выцветшие картины на стенах, оставляя размытым только ее лицо.

Милена налила им кофе, с удивлением замерев у их стола, и спросила, не проглотили ли они язык. Оба, спохватившись, сказали спасибо. Потом Като осведомилась, чем занят Камиль. Это была первая связная фраза, сказанная ею тем утром.

Ее брат, довела до их сведения Милена, изучает

дроздов.

Поскольку никто не отреагировал, Камиль заговорил сам. У него был низкий, гулкий голос, который посреди фразы срывался в хрипотцу и потому придавал словам убедительность. Весь его облик производил впечатление, в нем сквозила сила и вместе с тем что-то одухотворенное.

Камиль сказал, что дрозды — неприметные птицы, но поют лучше соловьев. И он пытается выяснить, как они между собой объясняются; записывает их пение.

Като, поднявшись из-за стола, взяла у него подзорную трубу, отпрянула от нее.

Камиль смеясь показал ей, как наводить на резкость.

Като и Камиль мгновенно сблизились.

Может, поэтому Лев так и не проникся к нему симпатией.

Като, которая подыгрывала ему в обмене косящими взглядами, на обратном пути в машине не щадила его. Как только внутри салона стало теплее и они очутились в уже знакомых местах, она заговорила. Ее язык мягко упирался в зубы, как всегда, когда она уставала или волновалась.

— Послушай, Лев, я на тебя не сержусь.

Начались повороты серпантина, которые тре-

бовали особенного внимания.

— Наверное, пришло время, я уже давно об этом думала. Ты тоже?

Кивок никак не повредил бы, и он небрежно добавил его в свое водительское усердие.

— Знаешь, что бы ни добавилось к тому, что у нас уже было, это не повредит.

— Никогда не узнаешь, пока не попробуешь.

А что будет, если они не наберутся смелости сделать следующий шаг?

— Ты ведь наверняка знаешь, что значишь для меня.

— Да? — спросил он несколько громче, чем следовало бы. — Скажи же мне, потому что я не знаю. Мне известно только то, что я думаю о тебе, постоянно о тебе думаю в этой дыре, где работаю.

Она взяла его руку, которая невольно оторвалась от рычага переключения скоростей.

— Почему ты мне никогда не говорил об этом? — спросила она.

Лев думал о туннеле, холоде, казармах. Он не хотел вызывать у нее жалость к себе.

— Я не могу рисковать. — В ее голосе прозвучало нечто такое, что заставило его посмотреть на нее. — Ты мой единственный друг.

— Так и осталось бы, — тихо сказал он.

Как больно оттого, что она в это не верила.

— С моим отцом худо, когда у него нет работы. Он сидит с утра до вечера дома, потом внезапно исчезает и не показывается целыми днями.

— Это его бутылка?

— Была его, — ответила Като и подняла из-под сиденья бутылку, в которой еще плескался маленький остаток.

Они улыбнулись друг другу.

— Ты уедешь, а я останусь здесь, — при этом «здесь» она указала в неопределенном направлении, — ты познакомишься с женщиной; наверное, уже кого-то встретил, иначе откуда бы так научился целоваться.

— Ну, хотя бы это, — ответил Лев.

— Что «это»?

— По крайней мере, ты думаешь, что я умею хорошо целоваться.

Они засмеялись. Като посмотрела на него с облегчением.

Экономными штрихами обозначились холмы и улицы их деревни. У своего дома Като распахнула дверцу еще до того, как машина остановилась. Шуршание, скрип дали понять, что дверь дома открылась. Мысленно Като уже была в доме, со своим отцом, с объяснениями, где она пропадала.

Лев хотел что-нибудь сказать, чтобы развеять печаль, которую он в последнее время все чаще замечал в ней.

Но что сказать-то?

Служба в армии была обязательной для всех. Некоторые, как Лев, прошли ее еще в восемнадцать лет, другие гораздо старше, потому что их призвали после учебы.

Никто не знал, куда его отправят. Подобно большинству, Лев имел при себе только один чемодан. В нем белье и немного еды. Мать положила ему слишком много. Его сестра Бредика дала ему талисман из детства — пластиковую сову с колечком, чтобы подвешивать на нее ключи, как на брелок. А бабушка наказала по возможности никому не попадаться на глаза: молчать, когда велят; говорить, когда требуют к ответу; тогда он затеряется в массе. В таких обстоятельствах, пусть он зарубит это себе на носу, неприметность очень важна.

Дорин подарил ему перочинный нож. Валеа простился с ним так, будто Лев отлучался на поле или в лес. И больше ничего.

Поезд ехал всю ночь. Если только ехал. Несколько раз они стояли, пропуская вперед другие составы. Никто за всю поездку не поинтересовал-

ся, не хочет ли кто есть или пить. Прибыли на место только утром, Лев увидел равнину, низкий, будто проведенный спокойной рукой горизонт.

Кто-то сказал: Банат.

Кто-то сказал: Решица!

С вокзала сразу повели в казарму. Он получил первое, мимолетное представление о городе. Многоквартирные здания и самые простые дома, без деревянных фронтонов или лавочек, пристроенных к воротам. Дымчато-голубые, яблочно-зеленые, охряно-желтые. Промышленность покрыла склоны дымовыми трубами, градирнями, складскими помещениями. Слышался грохот, рев механизмов. Печаль охватывала Льва от этого вида, смешиваясь с его тревогой, лихорадочной усталостью.

Что же это за город? По крайней мере, река здесь хотя бы Бырзава?

В казарме снова прозвучал приказ ждать. Его фамилию произнесли чужим, непривычным говором и вопросительным тоном. На вопрос ответило его тело, его присутствие здесь. Голый, он не стыдился. Был сильным — благодаря работе в лесу, которой занимался летом. Его одежду засунули в вещмешок, тот зашили и подписали его именем. Потом побрили наголо. Брюки из его

обмундирования оказались коротковаты, как и рукава кителя; и на выдаче обуви никто не спросил его размер. Начались обмены, сложнее всего было найти подходящую обувь. Через какое-то время Лев получил пару, хоть и еще более поношенную, чем первоначальная, но она хотя бы подходила ему по ноге. Только к подштанникам он не мог приспособиться: они кололись и держались на простом шнурке, который надо было затянуть и завязать.

Целыми неделями ничего, кроме упражнений. Сразу после завтрака они приступали к муштре, а до обеда и вечером к строевой подготовке. Стрельбы проводились на лугу. Площадка была огорожена, чтобы никто из гражданских не попал на линию огня.

Строевая не особенно докучала ему, равно как и одни и те же перечисления героических подвигов Чаушеску перед едой, как будто они молились в монастырской трапезной. Что ему досаждало, так это произвол старших. Лев, будучи младшим в семье, знал толк в иерархии: если плохой день был у Валеа, он вымещал это на Дорине. Тот, в свою очередь, на Льве, и этот всегда стоял перед вопросом, неужели очередь так и закончится на нем. Его мать ничем не могла ему помочь. Валеа

и Дорин ее уже не слушались; они позволяли ей кормить себя, только права слова она не имела.

По воскресеньям они были свободны, но в одно из первых же воскресений их подняли по тревоге, чтобы рыть канаву. Каждому отмерили по три погонных метра, земля оказалась твердой, лом то и дело натыкался на камни, а кто не выполнит свою норму, тот не получит ужин. Солдату, который не справился со своими метрами, Лев принес из столовой сыра и хлеба. Это был молодой серб, на чьем лице запечатлелась тоска по дому.

Пластиковый брелок-сова из детства лежал у него под подушкой. Его он видел первым, когда открывал глаза, и последним, когда закрывал. Чемодан, который Лев держал у себя под кроватью, служил ему и письменным столом, и табуретом, и скамейкой для ног — залог из другого мира. Иногда он его доставал, перебирал белье, которое Лиз собрала ему с собой и которым он, как и всеми ценностями, что находились в чемодане, не мог воспользоваться. Ему все больше досаждали подштанники: они кололись нестерпимо; кроме того, во время муштры порвались тесемки, подштанники сваливались и висели тряпкой у него на заднице. Недолго думая, он подменил их трусами, привезенными из дома.

Вскоре после этого Льва ночью подняли с постели. Двое мужчин выволокли его во двор казармы. В темноте он не различал их лиц. В воздухе висел аромат ванили и золы.

Ему велели раздеться до трусов.

Метеорит опалил ночь, распоров ее надвое.

Потом приступили они.

Если бы не случилось истории с трусами, он бы, может, принял присягу.

После прохождения базовой подготовки их по одному вызывали к командиру для принятия присяги. Рука на оружии, взгляд на триколоре, за Отечество.

Он не будет присягать, сказал Лев.

Командир удостоверился, что не ослышался.

Лев молчал, мельком глянул на второго, якобы безучастного человека, который протянул ему ружье. Тип в аккуратно сидящей униформе, которую ему наверняка не пришлось подбирать путем обмена с товарищами, и от него исходил сладковатый аромат, как от трубочного табака. Ванили и золы.

Последовали угрозы. Его предадут трибуналу в Тимишоаре, если он сейчас не примет присягу. Снаружи ждали другие солдаты, процедура должна была проходить как на конвейере. Лев

заметил растерянность командира.

Последовали другие словесные запугивания.

Лев отложил ружье, повторил, что присягать не будет.

Тут вмешался второй человек.

А на чем он готов поклясться?

Лев огляделся в помещении.

Его подначивало.

Либо они разрубят тебя на куски, либо ты продержишься.

— Я присягну на этой швабре, — сказал он и кивнул в угол, где стояло ведро и прислоненная к нему швабра.

Открылась дверь, кто-то спросил, все ли в порядке.

— Да, — рявкнул командир. — Разумеется, все в порядке!

Дверь снова закрылась.

Ванильный человек сунул швабру в руки Льву.

— Присягай, не то я загоню ее тебе в задницу.

И Лев принес свою клятву, держа руку на черенке швабры.

Его отправили не в войсковое подразделение, а на работы. Это была месть за его поведение, и он это принял. Поездка началась на грузовике, Лев просидел несколько часов на своем чемодане

среди остальных. Кто-то прорезал перочинным ножичком дыру в брезенте, и они по очереди в нее глядели.

В одном городе тот молодой серб, Иво, выкрикнул, что они находятся в Тыргу-Жиу, недалеко от «Врат поцелуя», памятника павшим воинам Первой мировой войны. Но они не остановились в городе, а проследовали выше в горы, в Южные Карпаты, где еще лежал снег метровой толщины. Ветки елей под тяжестью снега клонились к земле, дороги вели в белизну, утыканную деревьями. Здесь его вновь передали под ответственность лесу, но теперь уже без присмотра Имре. Их распределили по баракам, но изолированным, и им снова пришлось раздеться, чтобы получить свою рабочую робу, на сей раз друг перед другом. У Иво случилась эрекция, кто-то шепнул, нельзя ли прийти к нему ночью, мужчины засмеялись. Лев слышал вокруг румынскую, венгерскую, саксонскую речь и банатский диалект. Распределили первые смены, Льву выпала самая плохая — от двенадцати часов ночи до восьми утра.

Сам виноват, будешь знать, как присягать на швабре, думал он в свою первую ночь в туннеле, где вода затекала ему в резиновые сапоги. Он с состраданием смотрел на остальных: а эти-то бед-

няги что такого сделали, чтобы вкалывать здесь?

Впрочем, для этого хватало и одного анекдота про Чаушеску.

Про главу государства ходило много анекдотов. При этом с ним связывали и надежды, ведь Румыния единственная страна Варшавского договора, которая не послала войска в Прагу, и он поддерживал дипломатические отношения с Западом. Но явно потерял рассудок с тех пор, как побывал в Китае; или что-то ударило ему в голову, когда в Германии ему на шею повесили крест за заслуги.

Они рыли тоннель для водопровода. В иные часы они стояли по колено в воде, а их инструмент видал виды. Утром приходил грузовик без брезента и развозил их на ледяном ветру по баракам.

И куда подевался этот проклятый брезент, крикнул один из них.

Он был здесь еще на прошлой неделе, сказал другой.

Лев раздумывал о том, что о темноте зачастую говорят в переносном смысле. Но теперь он узнал, что представляют собой темнота и холод в реальности. Холод, который не оставляет никаких других желаний, кроме как сдаться ему. По возвращении в барак он едва мог пошевелить пальцем. Когда хотел снять брюки, они разорва-

лись посередине надвое. Он почувствовал, как онемели ноги. Тяга точно из глубины земли. Он упал на койку, укрыл их, надеясь, что никто не заметил произошедшее, — пока приступ не пройдет и он снова не сможет двигаться.

Кто однажды упал, тот продолжал падать все ниже, и если не уследишь за собой, то станешь отребьем, с которым каждый сделает что хочет. Надо снова пробираться наверх, и Лев ждал подходящего момента.

В начале июня он получил отпуск.

Мать испуганно отстранила его от себя на длину вытянутых рук.

— Чем они вас там кормят?

— Нормально кормят, — попытался Лев успокоить ее.

— Нормально для какой работы?

После того как и дед непривычно долго оглядывал его, Лев подошел к зеркалу. Он отощал, взгляд был одичалый. Коротко остриженные волосы обнажали контуры его головы.

Буника сказала, что не следовало понимать так уж буквально ее слова об исчезновении.

Он сел к столу и потянулся к еде. Сплошные вкусности, которые приготовили в его честь: паприкаш, булка с маком, кофе со сливками — как

в кафе, сказал Ферри. Буника же отказалась от сливок. Мол, хочет видеть, какой цвет у кофе. Лиз при этом комментарии шумно втянула воздух. Дорин и его подруга тоже пришли на обед. Бредика и ее семья подтянутся к ним только во второй половине дня. Валеа сидел во главе стола, на прежнем месте отца. Он потребовал, чтобы Лев рассказал, в каком подразделении в горах он служит (так он это назвал).

Лев жевал кусок пирога, пытаясь оттянуть ответ. Валеа придавал своей службе в армии ореол славы. Довольно часто всем приходилось выслушивать его геройские истории.

— Да что там рассказывать, — отмахнулся Лев.

Это прозвучало глуповато.

— Ну, что ты пережил.

Знал бы его брат, что означало рыть туннель.

— Не могу распространяться, — ответил Лев.

Валеа метнул в него недоверчивый взгляд. И пока он, вероятно, рисовал себе битвы за социалистическую республику, Лев снова забил рот пирогом.

После того как все разошлись и за столом остались только Ферри и Лев, Лиз закрыла двери в передней. Как по команде дед погасил свою сигарету и поднялся. Все это было так приме-

чательно, что даже Халил, который лежал на стуле, свернувшись калачиком, поднял голову. Он рассчитывал во время еды на хвостик колбасы и на сметану, потому что Лев и подруга Дорина Сильва исподволь его подкармливали.

— Не хочешь со мной прогуляться? — спросил Ферри.

Лев, которому стало дурновато от съеденного, спросил:

— Прямо сейчас?

— Твоему деду требуется твоя помощь.

— Да, конечно, — спохватился Лев.

В саду Ферри уточнил, сколько продлится отпуск Льва.

— Еще неделю.

— Этого должно хватить.

Ферри порылся в куче обрезанных веток, пока не нашел подходящую палку.

Лев молча ждал. Для чего это?

Только когда они оставили позади сад и хлев, дед снова заговорил:

— Мне нужен человек, который отвезет меня к парковке вблизи венгерской границы.

Лев мгновенно понял, что это значит.

— Ты же вроде подал бумаги, заявление.

— Бумаги, — презрительно сказал Ферри. —

Они придут, когда я буду уже в земле лежать.

— А что станет с Лиз? И со всеми нами?

— Вы последуете за мной, — сказал дед. — Вам гораздо проще потом так сделать, если я окажусь уже на Западе.

Хотят ли они этого вообще, он не спросил.

Лев думал о спирали, которая вела вниз. Человек, который упал, будет опускаться все ниже. За помощь в побеге полагалось тюремное заключение.

— Ты же знаешь, я отвезу тебя куда угодно.

Лиз с многозначительным видом протянула ему записку.

— Ты что, ее теперь избегаешь?

Его имя было написано печатными буквами, а под ними контуры птицы. Раньше бы он стоял у дома Като в первый же день, а то и в первый час. Почему же теперь все иначе? Его гнев, его разочарование из-за ее отказа исчезли, с ними, как и со многим другим, было покончено в туннеле.

Поначалу никто не открывал, когда он в обед постучался в ее дверь.

Собака безучастно грызла кукурузный початок, лишь ненадолго подняв голову, когда Лев перешагнул через забор вместо того, чтобы утруждать ворота. Лев заглянул в отбитый уголок стекла,

где торчала картинка Эйфелевой башни. На кухонном столе лежали бумаги. В окне появилось лицо, водянистые глаза, на шее следы пчелиных укусов. Отец Като сказал ему, что ее нет дома. Лев пожелал ему хорошего дня и спросил себя, почему они не оставят эти манерности. Всякая попытка завести разговор, который выходил бы за пределы схемы вопрос — ответ, терпела неудачу. Отец Като производил такое впечатление, будто понятия не имел, кто такой Лев или что ему здесь надо. Хуже того: вероятно, он понятия не имел и о том, что за человек была его дочь.

Лев поднялся по едва протоптанной тропе позади дома.

Бледные, светло-зеленые холмы.

Несколько быстрых, кристально чистых звуков.

Так могла свистеть только Като. Он свистнул в ответ.

Вскоре она уже стояла перед ним. Он уловил смятение, которое примешалось к ее радости, когда она увидела, как он изменился.

Они заговорили в один голос:

— Мне очень жаль…

— Ну вот, какого-то грешника мы сейчас вызволили из преисподней, — сказала Като.

Он был так рад ее видеть, что осознал это позже. Только когда вернулся домой, понял, что встреча все еще отзывается в нем. Он был спокоен, и это спокойствие вытесняло все лишнее, воспоминание о туннеле, невозмутимость его деда, который без какого-либо сожаления планировал свой побег. Однако за этим спокойствием скрывалось нечто неведомое, и только вечером до него дошло, что она пыталась на свой лад о чем-то ему сказать.

Като показывала изображения птиц, которые она в месяцы его отсутствия рисовала как одержимая. Сперва карандашные наброски, потом более подробные эскизы и, наконец, акварельные картинки.

Откуда у нее краски, спросил он.

Она посмотрела на него с удивлением — вероятно, потому, что он больше ничего не сказал.

От Камиля, ответила она, краски у нее от Камиля.

Като откинулась назад, оперлась на локти, предоставила ему собрать рисунки, рассыпанные по траве. Он аккуратно сложил их в папку.

— Они прекрасны, — сказал он, не понимая, почему ему так трудно было произнести это. Возможно, она испытывала счастье, рисуя этих

птиц.

Теперь она притихла. Ее дыхание напоминало робкое течение воды.

Он выдержал ее взгляд, вспомнил игру, которой они забавлялись в детстве. «В мужа и жену». Они играли до тех пор, пока один из них не скажет, что больше не хочет.

Он погладил ладонью лоб, как будто там еще были волосы, которые надо было откинуть назад.

— Лев, скажи мне, как у тебя дела.

Каждое утро или вечер, в зависимости от смены, Лев уходил в лес. Из-под растаявшего снега проступала листва, мох, еловые шишки. Лев собирал шишки, репейник, хранил их под подушкой. Были у него деревья, к которым он снова и снова возвращался, как к друзьям.

Сослуживцы его предостерегали, чтобы он не заблудился.

Лев говорил, что хорошо ориентируется в лесу. Даже в этом?

В любом.

Однажды, когда он уже достаточно долго бродил, что-то его остановило, по-другому он бы это не назвал: что-то мешало ему идти дальше. Перед ним раскинулась поляна. Два волка боролись на

ней, не издавая ни звука. Не было ни ветерка, ни птичьего чириканья, казалось, поляна следила за происходящим, замерев, а не только он один; всё вокруг, весь лес, вся тяжесть гор сплавились в этой точке.

Один волк излучал спокойствие и силу, не было сомнений, что он сильнейший. Через некоторое время второй откинул уши назад и завилял опущенным хвостом. Он пригнул задние лапы, сделался меньше. Победитель теперь стоял боком к нему, почти потеряв интерес, отвернув морду.

Волк, который покорился, скользнул мимо Льва, едва не задев его. Странно, но Лев не испытал страха. Когда птицы снова вспорхнули, он пустился в обратный путь в сторону бараков. Рассказать ли другим о случившемся? Изменит ли это что-нибудь? Ничего. Они жили среди волков. Он знал об этом и раньше.

— Ты так ни с кем и не подружился? — спросила Като, внимательно его выслушав.

Есть один, ответил Лев, закуривая сигарету; он работал на кухне и при раздаче набирал для него половником побольше. И еще молодой солдат, Иво, которого он опекал. Им повезло: инженер-строитель туннеля больше ценил человечность, чем униформу. Он всегда старался облегчить им

работу.

Като вытянула из папки листок и принялась рисовать.

Два волка на поляне.

— Я думаю, он ко мне хорошо относится. Иногда вечерами мы вместе играем в карты. У него в гараже стоит светло-голубой мотоцикл с коляской. Но прав водительских нет из-за плохого зрения.

— Значит, ему нужны водительские права? — осведомилась Като.

Лев кивнул.

— Поедешь завтра со мной к Милене и Камилю.

В этой фразе не было вопросительного тона.

— Ce să fac? Fac supa de clopot[7].

Камиль варил свой воображаемый суп из колокольчиков. Казалось, он изменился, насколько мог судить Лев, который видел его всего лишь второй раз в жизни. Его дородность, эта укрощенная сила, резко контрастировала с меланхолией в его глазах — но кручина там отсутствовала. В этом мужчине не было ничего обычного; глубина, хрипотца его голоса взволновали Льва.

Като обняла его, ее голова доставала ему до пле-

---

[7] Примечания: 7

Что я делаю? Варю суп из колокольчиков (*румын.*).

ча. Она прихватила с собой рисунки, и Камиль, наблюдатель за птицами, повар колокольчиков, разглядывал их один за другим.

Лев передал Милене упаковку муки.

Она склонила голову набок, улыбнулась.

— И что только ты делаешь, чтобы раздобыть такое?

— Он торгует своим телом, — сказала Като с преувеличенной серьезностью.

Обе женщины ухмыльнулись, а Лев отвернулся, чтобы скрыть, что и сам готов рассмеяться. Без подарков в гости не ходят, но сегодня он принес с собой что-то не просто так.

Като и Камиль рассматривали рисунки. Они сидели так близко друг к другу, что их плечи соприкасались.

Пока Камиль переложил на ноты при помощи камертона всего двадцать одну мелодию дроздов.

Пение дроздов на заре в шелковице.

Пение дроздов во дворе у колодца.

Пение дроздов у бывшей мельницы.

Пение дроздов у ручья.

Для каждой мелодии Като делала рисунки: дрозды на дереве, у колодца, у ручья, на коньке крыши, в полете, парочка дроздов в траве, на

камне. Молоденький дрозд с худеньким телом и особь постарше и округлее. Черный самец со светящимся клювом и оранжевым кольцом вокруг глаз, отчего он всегда выглядел немного удивленным. Коричневая самка с пятнистым брюшком, как выцветшая бумага.

— Ты приманиваешь птиц? — спросил Лев.

— Изюм и семечки — это из моей кухни. Они налетают как бешеные, половина корма рассыпается вокруг, потом прилетают воробьи и синицы и подъедают, — ответила Милена. Это звучало без укора, ради полноты картины; она лишь хотела сказать, откуда берется еда для дроздов.

Камиль объяснил, почему трудно записывать мелодии mierlă. Есть тоны и шумы, которые смешиваются, очень тихие и резко выделяющиеся звуки. Бывает пение роллер, быстрые повторения одного и того же тона, или триллер, быстрая череда двух тонов. Куплеты искусно выстраиваются, но иногда какой-нибудь дрозд вводит новый мотив, и вслед за ним повторяют другие. Самое же красивое — контровое пение, перекличка двух дроздов. Поют они с марта до сентября. Сейчас как раз их время.

Для Камиля дрозд был буквой Бога, чистой формой, чистым тоном, самоотдачей. Летучей

буквой, которая стоит вне алфавита. Если бы поэт располагал такой буквой, он бы превзошел все, что было написано до него.

— Ты пришел, потому что у тебя вопрос к Камилю.

Като требовательно взглянула на Льва.

Лев сказал прямо, что ему нужны водительские права.

— Не для него, — дополнила Като.

— А для кого?

Лев объяснил кратко свою ситуацию. Воспоминание о туннеле легло на его шею точно мельничный жернов. Камиль записал имя, уточнил детали, не стал ничего обещать, не сказал ни да ни нет. Получится ли? Като, казалось, имела безграничную веру в Камиля.

Зал трактира наполнялся. Милена зажгла свечи на столах. В зал вошли двое мужчин, и Лев понял по тому, как напряглись плечи Милены, что дело неладное. Като, разговаривая с Камилем, ничего не заметила. Но Камиль заметил все, он задвинул радиоприемник ногой за занавеску.

Мужчины сели.

Свеча на столе загнанно затрепетала.

Милена приняла у них заказ, зашла подчеркнуто неторопливо за стойку, бросила взгляд на

своего брата. Тот в свою очередь неловким движением опрокинул свой стакан; его содержимое вылилось на столешницу, намочило несколько рисунков, что расстроило Като. Камиль взял тряпку, а Милена тем временем что-то положила под газеты на подоконнике. Като вытерла стол, разложила листы на просушку.

Теперь, когда здесь, как на сцене, позади явного действия разыгрывалось скрытое, левый глаз Камиля был спокоен. Он беседовал с Като и не спускал глаз с тех двоих. Те сидели за столом, принимая знаки внимания и вино без единого слова. Милена принялась напевать песню, гости смеялись — может, чуть громче, чем следовало бы. Стало ясно, кто эти двое; Льву, которого внезапно охватил страх, что они явились за ним, потребовалось время, пока он понял. Их интересовал Камиль; Камиль, который сидел рядом с Като.

Стул Льва заскрежетал ножками по полу. Он встал, не понимая, что ему сделать. Като удивленно подняла глаза.

Камиль посмотрел на него. Его глаз не дергался. Двое мужчин поднялись и покинули кафе. Они не расплатились.

Научишься тут поневоле проворности.

Взгляды в сторону. Слушание затылком.

А еще окольным мыслям.

Это отличало того, кто ни о чем не думал, ничего не слышал, ничего не видел. Ибо были и такие люди, кто хорошо видел и слышал, от них ничто не ускользало.

Едва можно было заметить, что все дорожало, всего становилось меньше. Это происходило медленно, людям давалось время привыкнуть, как будто ничего не менялось, будто ничто не стало хуже или скуднее, холоднее или темнее, ты сам в это врастал, рос вместе с этим.

Дедушка уже шесть лет ждал документы на выезд. Раз в месяц он ездил в Бухарест, становился в очередь в паспортный стол и, поскольку ничего не сдвигалось с места, развивал все новые стратегии. В последнее время он занимал очередь в три-четыре часа ночи и тогда оказывался одним из первых. У него была теория, что в день выдают около дюжины паспортов, и надо исхитриться, но попасть в эту дюжину. Он простаивал ночью перед паспортным столом, часами в вестибюле, рядом с другими, которые тоже надеялись, которые тоже ждали, у них тоже имелись свои стратегии и теории.

Решающим фактором могло стать то, сколько твоих родственников жили за границей, подавал

ли ты ранее прошения, не сидел ли в тюрьме, не имеешь ли долгов, запасся ли хорошим письмом — или лучше без письма. И еще: дал ли взятку правильным людям, в немецкой валюте, разумеется.

У Ферри складывалось впечатление, что кто-то его бумаги, которые лежали уже на самом верху, снова перекладывал вниз, и так он однажды записался на прием в немецкое посольство. Служащий выслушал историю Ферри. Потом посмотрел ему в глаза и со странным жестом (помахивая руками так, будто сметая нечто под стол) сказал, что румынское государство суверенно и он, к сожалению, не в состоянии ему помочь.

Весь отпуск на Черном море Ферри подумывал о том, не сбежать ли из Болгарии, где они говорили «Черно море», в Турцию. Ходили слухи, что на зеленой линии границы возведены несколько заборов, чтобы запутать беглецов. Никто не смог бы понять, то ли ему удалось оказаться на свободе, то ли нет. Ферри решил, что слишком стар для такого предприятия.

И всё ли существовало на Западе? Правда ли там можно ездить куда угодно? Хватит ли знаний одного языка? Для высказанного и невысказанного, явного и сокровенного, истинного и ложного?

Иногда каких-нибудь людей с Запада по ошибке заносило в эти края на их «мерседесе». Выглядело так, будто они, одетые во все новое, нахваливали пейзажи, привозили кофе, сигареты, люксовое мыло, обменивали все это на сыр из молока буйволиц, желтую паприку, водку, покупали что-нибудь на память, ковры, тканые покрывала, блузки с национальным узором.

Пейзажи, что бы это значило, посмеивались люди в долине. Как можно об этом говорить, словно у них — там — они отсутствовали? Для Льва пейзаж был чем-то таким, что запечатлелось в тебе, что всегда с тобой. Ферри же, наоборот, утверждал, что его больше ничего не связывает с этой страной. Он хотел только одного: покинуть ее.

Господи, сделай так, чтобы мы получили паспорта — в то время среди немцев в стране это была самая расхожая молитва.

Пора, сказала его мать в предпоследний день побывки. Лиз нерешительно передвигалась по комнате, брала в руки то одно, то другое, пока он не догадался, что она хотела услышать.

— Мама, я буду осторожен.

— Прости, что прошу об этом. Но, — она сделала паузу, — никому другому такое нельзя доверить.

— Знаю, — сказал Лев.

Дорин сейчас, когда он добивается большей квартиры, не захотел бы рисковать, а Валеа, пожалуй, завез бы Ферри прямиком в полицию.

— Одно место в грузовике еще свободно, — сказала Лиз.

— Для тебя?

— Я не уеду.

— Почему?

— Это место связано с твоим отцом. Не хочу потерять его еще раз.

Пока Лев раздумывал, не относится ли это и к нему самому, в комнату проскользнул Халил. Он дал себя погладить, а потом выбежал наружу. Всегда полагалось искать знаки, любит ли тебя животное, или ты только уговариваешь себя в его привязанности.

— А ты?

— У меня здесь тоже кое-что есть, — ответил Лев.

Ферри не взял с собой никакой поклажи.

— Вот так, здороваешься с соседями, запираешь мастерскую, моешь посуду и знаешь, что все это происходит в последний раз, — сказал он.

Была чашка, которую он любил, из тонкого фарфора, с золотым ободком, — вероятно, из чайного сервиза его матери, он ее особенно тщательно

вытирал и ставил в шкаф. В шкаф, который он уже никогда больше не откроет.

— Разве это не смешно? — Ферри выдавливал из себя улыбку. — Чашка говорит мне то, что мне самому следовало понять давным-давно.

Задолго до этого он принялся — всякий раз, когда приезжал из Шессбурга в гости, — что-нибудь оставлять у дочери, вещи, с которыми не хотел разлучаться: вышитые салфетки и наволочки жены, сервиз из императорских и королевских времен, письма, книги.

Лев просматривал фотоальбомы вместе со своей матерью: фотографии класса Льва, Ферри с дочерью на горном курорте Пельтиниш в Карпатах, Лев с Ферри под колоннадой в Бузиаше, фотографии его крещения, конфирмации его матери, дед в униформе… Лев удержал эту страницу, спросил у матери, почему зачернено одно место на воротнике. Это место она девочкой зачернила, сказала Лиз, стыдилась, что ее отец служил в войсках СС.

Путь лежал по ночным дорогам в сторону Запада. Ферри курил, ветер трепал его волосы. При каждой вспышке фар в зеркале заднего вида Лев напрягался. Кто же поедет в такую пору, если совесть чиста? Он уже не понимал. Всякое движе-

ние было притворством.

Водить машину его научил Имре, они однажды целый день ездили по горам и долинам, ему приходилось парковаться и передвигаться на задней передаче по насыпи, потом Имре дал ему канистру бензина, и он с ходу сдал экзамен по вождению. Имре и сейчас раздобыл бензин, и у Льва сразу возникло чувство, что его друг о чем-то догадывался.

В какой-то момент дед потребовал передышку. Лев съехал на проселочную дорогу, заглушил мотор. Ферри скрылся в темноте, и Лев не спускал глаз с этой темноты, пока дед оттуда не появился. Мужчина, который снова садился в машину, выглядел растерянным, как будто заблудился.

— А ты хорошо подумал? — спросил его Ферри.

Лев кивнул и потом перевел этот кивок в слова, потому что ему стало ясно, что дед этого не понимает.

— Сколько тебе еще осталось служить?

— Год.

Действительно ли он хочет подарить им год своей жизни.

Почему же подарить, он же будет при этом жить, сказал Лев. Немного свободы есть и здесь.

Свобода либо существует сполна, либо ее вовсе

нет, ответил Ферри.

Когда в час ночи они добрались до уединенной парковки, она оказалась заперта.

— И что теперь? — Ферри пытался говорить спокойно, но у него не получалось.

— Поедем дальше, — решил Лев. — Если водитель умный, он так и поступит. Что ему остается делать?

— Повернуть назад, например. Деньги-то его фирма в Германии уже припрятала.

Через десять минут пути обнаружилась другая парковка.

Теперь нужно было ждать и надеяться на отсутствие полицейского рейда.

Не предупреждая, Ферри вышел, чтобы спрятаться в ближайшем подлеске. Открыв дверцу машины, он помедлил. У Льва появилось желание выйти, обнять его, удержать от этого шага, но Ферри уже скрылся.

Он опустил стекла. Далекий шум мотора, вой зверя, шорох акаций. Знакомые звуки и шумы, чуть приглушенные, не вполне предсказуемые. Поэтому возникло ощущение отдаленности, дистанцированности. Даль, которую он мог преодолеть. И ему уже никогда не придется спускаться в туннель. Останется только очередная

машина, брошенная на парковке; полицейские, обыскивающие двор, смущенное неведение братьев, упорная ложь матери — и он: пребывающий давно уже в другом месте, давно исчезнувший; воспоминание о сброшенной, как шкура, жизни будет все бледнее, все нереальнее, он чувствовал это уже теперь. Стеклянный, плотно подогнанный мир был подобен сну, и это представление захватило его; опьянение, в котором открывается чужая бездна. Его желудок сжался в горячий ком. Разум и тело расходились в разные стороны, и ему потребовались все силы, чтобы снова свести их воедино.

Он распахнул дверцу, и в этот момент на парковку свернул грузовик. Сколько же времени прошло?

Не так много.

Лев подчеркнуто небрежно захлопнул дверцу машины.

Водитель вышел, испытующе посмотрел ему в лицо.

Когда Лев кивнул, мужчина спросил по-немецки, сколько человек поедут с ним.

— Один, — сказал Лев и свистнул, подал условленный знак.

Они долго не будут знать, все ли прошло хоро-

шо. Удалось ли тому грузовику перебраться через границу, выдержали ли нервы у пассажиров-зайцев в тайнике между кузовом и водительской кабиной? Ограничились ли пограничники только проверкой документов или стали потрошить?

С каждым километром Лев чувствовал, как увеличивается дистанция между ним и его дедом и окончательным становится это прощание. Когда еще они теперь увидят друг друга? Стоило ли то, что Ферри надеялся найти, заслуживающим разлуки с семьей?

Обратный путь затянулся. Лев заметил, что кто-то его преследует. Он ехал осмотрительно, не слишком медленно, не слишком быстро. Оглядел внутри машины Ферри. Ничего такого, что могло бы его выдать. Только он сам.

Автомобиль обогнал его, замедлился, заставил и его сбросить скорость, пока они не остановились посреди деревни.

Вышел полицейский.

Страх пронзил тело Льва как тупой удар. Он опустил стекло, получил приказ выйти. Снова обнаружил себя на дороге, рядом со своей машиной, не понимающим, что он тут делает.

Ему пришлось показать свои документы, у него спросили, куда он едет.

— Домой.

Как сладко это прозвучало.

От друзей, он едет от друзей. У него отпуск из армии, завтра он должен вернуться в часть, сказал он и удивился, насколько гладким ему удается этот небрежный тон.

Полицейский, худой мужчина с усами, спросил, где он проходит службу. Когда Лев ему сказал, тот рассмеялся, участливо похлопал его по плечу и отпустил восвояси.

Низко плывущие тучи. Словно море, под которое можно поднырнуть.

Като была завернута в непроницаемую тишину.

На всякий случай молчал и Лев. А почему, собственно, когда женщина молчит, всегда возникает чувство, что это имеет какое-то отношение к тебе?

Дальше вниз по течению, на том месте, где Иза становится спокойнее, они сели. Като прихватила баночку меда, из которой они по очереди черпали ложечкой. У него перехватило дыхание, когда она достала из своей папки картинку. В первый момент он подумал, что она взяла ее в церкви, так правдоподобно выглядела Мария. Лев удивился, какой прозрачной кажется ее ко-

жа, улыбка, складки бледно-голубого одеяния, посмотрел на руки Като, заметив под ногтями остатки краски, и боролся со своими противоречивыми чувствами. Под руководством Камиля она совершила настоящий прорыв. Почему он не мог от нее этого ожидать?

Очень осторожно вернул ей картинку, вложив в этот жест все свое восхищение.

— Когда ты снова приедешь? — спросила Като.

Он сказал, что не знает, и подумал, что ему следовало бы успеть сбежать из туннеля до грядущей зимы. Они еще никогда так надолго не разлучались, как в этом году, и Лев успокаивал себя, вопреки всему, тем, что теперь у нее есть Милена и Камиль. Сможет ли Камиль добыть водительские права для его шефа? Кто-нибудь из тех, кто добывает для Като краски, ему поможет. Кто-нибудь, за кем уже наблюдают, знает нужных людей.

— Когда дедушка умер, — сказал Лев, — семья собралась в горнице, пришли соседи, друзья, знакомые, полдеревни, пили водку, окружили покойника. Нас, детей, трижды обвели вокруг гроба. Дедушку нарядили в его лучший костюм, нижняя челюсть его провалилась, потому что никто не мог найти его зубной протез. И казалось,

что его тело с каждым обходом становилось все меньше.

В какой-то момент он больше не хотел заходить в горницу с покойником, плакал, умолял. Буника сняла башмаки и носки своего мужа и заставляла его трогать пальцы на ногах покойника. Это, мол, необходимо, чтобы смерть его пощадила, чтобы знала, тот уже не живет под этой крышей. Лев до сих пор помнил ощущение влажного холода, голубоватые ногти, потрескавшиеся пятки.

— Как мне кажется порой, все, что мы делаем, — это попытка перехитрить смерть. Думаешь, она понимает наши знаки? Ей есть дело до наших манипуляций?

— Мы еще пока здесь, — сказала Като.

— Мы пока здесь.

Четыре

Nesze semi, fogd meg jól[8].

Лев наступал в каждую лужу. Если та была особенно большой, он в нее прыгал. Вода ловила шерстинки, коньки крыш, мачты электропроводов, последние капли дождя. Его башмаки, носки и штанины промокли насквозь. В лужах он отражался в виде великана на ходулях, с укороченным туловищем и слишком маленькой головой. Лев выходил из воды, прыгал в такт своей ярости, стряхивая с себя капли. Перед одной лужей он остановился, что-то заставило его помедлить — а вдруг она глубокая, как бывают соляные озера, связанные между собой пещерами. Каждый водоем, говорила его бабушка, имеет под землей своего брата-близнеца. Если он сейчас прыгнет, то исчезнет, окажется в другом месте.

Он хотел оказаться в другом месте. Забыть выражение лица Фабиу.

Фабиу проводил время с мальчиками из старшего класса, перемены — у фонтанчика, вторую

---

[8] Примечания: 8
Здесь нет ничего твоего, это точно. (*Венгерская поговорка.*)

часть дня — на вокзале. Это ничего не значило, ведь они были друзьями, потом стали чужими; так бывает, говорила его мать, сначала с кем-то близок, даже на расстоянии; а потом вдруг что-то нарастает, и, ты не поверишь, появляется вражда.

Он неделями старался ради Фабиу, пока ему не надоело напрягаться. Стал пленником своих усилий, они оказались ненастоящими, ни одна фраза больше не была подлинной, за всем скрывался умысел, и многое им сказанное представлялось ему фальшивым. В иные дни Фабиу проявлял к нему дружелюбие, почти как раньше, но было заметно, что они застряли в каком-то гулком помещении, где каждая фраза становится ненастоящей, неуместной.

Лев тоже несколько раз бывал на вокзале. Кто говорил громче всех, рассказывал лучшие истории, пережил что-то за выходные, тому выказывалось уважение; эдакое нескончаемое соревнование в преувеличениях, во вранье, которое в равной степени как импонировало Льву, так и отталкивало его. Он какое-то время наблюдал за этим, потом стал держаться подальше от компании. Уже скоро он узнал, что значило не участвовать в этом.

Кто не участвует, тот посторонний. Кто посторонний, с тем можно делать что угодно. Существовали только две стороны: внутренняя и внешняя, друг и враг. Лев следил за тем, чтобы на переменах держаться подальше, после звонка входить в здание школы одним из первых, в толпе других. Но каждому когда-то требовалось сходить в туалет, и из осторожности Лев почти не пил с утра.

Для девочек имелись отдельные кабинки, а мальчики мочились в длинный, выложенный кафелем желоб. Лев обычно терпел до боли, и, когда открылась дверь, он не успел среагировать. Они прижали его к кафелю, лицом к стене, обрызганной мочой. И что Фабиу? Он смотрел на это, потом сказал: «Достаточно» — с тем холодным, идущим снизу взглядом.

— Хватит, а то у него снова отнимутся ноги.

Лев решительно направился к дому своей сестры. Бредика весной второй раз стала матерью. Она настолько занята, что не станет его расспрашивать, так что он сможет у нее в кухне просушить свои мокрые вещи.

— Что, опять топтался в лужах? — усмехнулась она вместо приветствия.

Последовала череда молчаливых процедур,

которые могли быть только между братом и сестрой.

Единокровными братом и сестрой, только по отцу.

Но с Бредикой он не чувствовал нехватки родства.

Лев стянул обувь, Бредика дала ему сухие носки, поставила его башмаки на печь. Лев снял мокрые брюки, Бредика дала ему покрывало, которое он обернул вокруг бедер, чего постыдился бы перед другим человеком. Его сестра разогрела суп, поджарила хлеб, он накрыл на стол, кивком головы она дала ему понять, что достаточно одного прибора; она уже поела или поест позже, когда вернется домой ее муж.

В кухне-гостиной стоял диван, в середине стол, сбоку печь, на которой готовили еду. Рядом была спальня, а в прихожей располагался ткацкий станок, на котором ткали серое конопляное полотно, с годами оно становилось белым. Старший племянник Льва был в детском саду, новорожденный лежал на диване, запеленатый. Он походил на деревянную куклу без рук и без ног — младенцев пеленали как деревянное веретено.

После еды Бредика помыла посуду. Убрала тарелки в буфет, приборы воткнула за деревянную

планку на стене. Лев смотрел на младенца и чувствовал, как тяжелеет его собственное тело, словно это он был грудничок с примотанными к телу руками, со связанными ногами — и ему почудилось, что он не может пошевельнуться.

Бредика подсунула ему свои запутанные бусы. С тех пор, как она узнала, что у него хватает терпения распутывать их, это сделалось его обязанностью. Сестра присела на краешек дивана; у нее уже появились те жесты старых женщин, которые кладут руки себе на колени, ладонями вверх.

Распутывая бусы, Лев рассказывал об их новой дворняжке, огненно-рыжей пастушьей собаке. Валеа она досталась от одного овчара. Новая собака сидела на цепи, лаяла на каждого, в особенности не любила Льва. Бредика спросила, как она ладит с Халилом, и Лев ответил, что кот обходит собаку стороной, она нападает на всех, кто приближается к воротам. Выскакивает из будки, и Лев прямо чувствует, как цепь рвет собаке шею. Он пытался опередить этот рывок цепи, а потому ему приходилось постоянно бегать от ворот к двери дома и от двери дома к воротам.

Овчар дал ему кличку Пакс, но никто его так не звал, он просто был «новый пес».

Тут что-то не понравилось младенцу, он начал хныкать, Бредика повернулась к нему, принялась качать его спеленатое тело. Она по-прежнему могла двигаться бесшумно, что было весьма на пользу в ее новой жизни. Тихо разжечь огонь ранним утром, разбудить мужа, когда закипит кофе, сварится каша. Бесчисленные действия, распределенные по ходу дня: заправить постели, постирать белье, приготовить еду, обиходить сад. Что-то от этой бесшумности отложилось у нее внутри, она перестала петь, и улыбка у нее сделалась другой.

Летом она иногда сидела в проеме двери, лицом к солнцу. Согнувшись спиной и вытянув ноги, руки на теплой древесине, с неподвижным лицом. Так же часто в дверях дома сидела и мать Бредики, рассказывали соседи, и Лев чувствовал себя человеком, который тайком наблюдает за спящим. Зачастую ему не удавалось открыть замок ворот, это его выдавало и заставляло ее открыть глаза. У других получалось без проблем, он же не мог. Она сидела в проеме двери как меж двух миров; тем, что принадлежал ей, и другим, которому принадлежала она, и со временем ее лицо изменилось, как будто темнота прорывалась в пробоину.

— Ты с ним ласково разговаривай и спокойно иди мимо, — сказала Бредика на прощание.

Лев сперва не понял, что она имеет в виду.

— Мимо Пакса.

Новый пес залаял, когда Лев еще подходил к воротам. Выскочил из будки, пламенея шерстью, глаза как вишневые косточки, окаймленные желтым. Лев удержался, не побежал к двери дома, а пошел подчеркнуто медленно мимо собаки, которая неустанно рвалась с цепи и лаяла.

Лев нерешительно прошел по дому, по веранде в прихожую, где теснилась общая жизнь и откуда лестница вела на верхний этаж, к комнатам братьев, куда он никогда не заходил. Он на миг заглянул в спальню родителей, которая все еще называлась так и в которой даже днем были закрыты ставни, прошел в свою комнату. Лег на кровать, раскрыл книгу. Потом вспомнил, что она принадлежала Фабиу, и бросил ее на пол. Его охватила усталость, но спать не хотелось, после того несчастного случая он никогда не спал днем. Он ощущал мягкость одеяла и подушки, расстегнул брюки, сунул руку внутрь. Потом поднес ее ко рту, вдохнул новый запах своего тела, пряный, жгучий. Так начинался каждый его вечер — блуждающими мыслями, достаточно

яркими, повторяющимися фантазиями. Сцены разыгрывались в знакомых местах (с девочками, которых он находил красивыми), так что они иногда казались более реальными, чем сама действительность. С одной разницей: он мог их перематывать назад, подправлять, повторять, сколько ему хотелось.

Лев встал.

Если грядет что-то неизбежное, надо его пережить.

Его мать хлопотала в летней кухне, занимаясь засолкой огурцов. Бобовая ботва, хрен и укроп лежали наготове, а также листья сельдерея и вишни. На кухонных полотенцах сушились стеклянные банки; два стула были отодвинуты от стола, как будто недавно здесь кто-то сидел.

— Я больше не пойду в школу, — объявил он ей.

Забор обозначал конец участка. Лев шагал в горку, пока перед ним не открылся вид на всю деревню. Черепичные крыши, ворота дворов, гнезда аистов на мачтах электропередачи. Луг был сырой, второй раз за день брючины Льва намокли.

Ветер приминал траву волнами, словно приглаживал шерсть животного, замершего, как сестра

Льва в проеме двери, на пороге между «внутри» и «снаружи».

Животные, думал Лев, постоянно находятся на этом пороге.

Халил внезапно подошел к нему — казалось, вот-вот пройдет сквозь него. Но кот остановился, подняв у его ноги хвост вопросительным знаком. Лев дал ему еды, которую прихватил из кухни.

Мать попыталась переубедить его, но потом смолкла. Ее молчание было худшим наказанием, хуже, чем назидание. Чем бы она ни грозила, он отныне в школу не пойдет. С него довольно.

— Если предпочитаешь работать, а не учиться, можешь провести лето со своими братьями в лесу, — сказала она под конец. — При одном условии.

— При каком?

— Которое ты примешь.

Он сделал глубокий вздох, кивнул.

— Этот школьный год ты закончишь.

В нем все вывернулось наизнанку при такой мысли.

— А потом будет видно, — подытожила Лиз.

Никакого «потом» не будет, в этом Лев был уверен, и его охватило победное чувство. Неужели все обошлось? А значит, никакой дороги в школу,

никакой формы, утренней муштры, никакого чувства неполноценности оттого, что ничего не лезет ему в голову, никогда больше этого резкого запаха мочи в туалетах. Он пересчитал все эти «никакой» и «никогда», они складывались в рифму, в фанфары радости, пока он не сообразил, не осознал внезапно, что ему придется сказать об этом Като.

Они встретились на еврейском кладбище. С тех пор как Като узнала, что раньше четверть деревни составляли еврейские семьи, она часто приходила сюда.

То, что они сгинули, само по себе было плохо. А уж забвение, заметила она, еще хуже.

Солнце спустилось уже низко, но небо еще светлело, словно солнце сейчас снова взойдет и все начнется заново. С той лишь разницей, что ему скоро не надо будет в школу. «Никакой школы никогда больше!» — ликовало в нем.

Она была такой тихой рядом с ним, что он испугался. Испуг никогда не сулил ничего хорошего, он обнажал нечистую совесть. Ему следовало бы сразу сказать, иначе не наберется смелости, но он медлил, потому что хотел насладиться ее беззаботностью, прядками ее волос на ветру, ее простодушным, доброжелательным лицом, взле-

тающими руками в красном вязаном пуловере, растянутом по краю.

Они шли по дорожке между могил, по сырой земле, которая прилипала к отяжелевшим башмакам. Като рассказывала, как помогала своему отцу с бритьем, и внутри Льва с каждым ее словом росла уверенность, что он ее предает. Его решение продиктовано мыслями только о себе и нисколько о ней. Конечно, он имел на это право, ведь таков его добровольный выбор, а не как у Като, когда ее отец решил, что восьми классов будет достаточно для его дочери. Она была в числе лучших учеников в классе, но с четырнадцати лет ей приходилось вести все домашнее хозяйство, и Като приняла волю отца безропотно. И только когда по долине тянулись караваны кибиток, мужчины и женщины шли от дома к дому, точили ножи, продавали медную посуду, чинили котлы, она проводила часы на качелях под грушей, Лев догадывался, о чем она думала.

Этот день, кажется, выдался хорошим; такие изредка случаются в череде темных дней, и тогда между нею и ее отцом зарождалось какое-то чувство единения, вопреки всей их отчужденности. Отец Като был пасечник. Иногда он отсутствовал дома неделями, а потом наступал период, когда

не находил себе работы и пил. Като боялась его гнева, для взрыва хватало пустяка. По возможности она оставалась дома у Льва, и Лиз учила ее готовить, печь, закатывать банки — всему, что нужно знать в домашнем хозяйстве.

Кто же теперь позаботится о том, чтобы она училась дальше? Лев дважды в неделю проходил с ней весь учебный материал. Он читал свои записи, она задавала вопросы. В итоге он и сам начинал разбираться, его отметки улучшались. В нем поднималась ярость. Но он не мог ничего поделать с тем, что ее отец не понимал, какая она умная. Лев заметил ее огрубевшие ладони, слишком коротко обрезанные (или обгрызенные?) ногти, и разом исчезли задорные прядки волос, свет, которым лучились ее глаза. Като знала, что сейчас будет, ее тело заранее понимало это; возможно, ему не придется ничего говорить и не будет необходимости что-то ей объяснять. И когда он остановился, повернувшись к ней, радость спала с ее лица.

С началом летних каникул он пребывал вместе со своими братьями Дорином и Валеа на вокзале. Дюжина других мужчин расположились со своими сумками и рюкзаками у железнодорожных путей. Женщина в привокзальном киоске,

в халате, с папильотками в волосах, продавала сигареты, спички, пиво.

Они сели в поезд, Лев прошел за братьями в отсек на четверых. Скамьи деревянные, окна открыты. Бутылки водки шли по кругу, кто-то играл на губной гармонике. Лев распрямил спину. Старался выглядеть так, будто ездил на поезде уже много раз. Поезд пришел в движение, вокзал удалялся, церковная башня показалась и снова исчезла. Перед виадуком Лев услышал свист, чистый, пронзительный, вскочил и увидел ее у железной дороги. Като махала ему; он, забыв про свою напускную сдержанность, бурно помахал в ответ. Его не волновала усмешка в глазах его братьев. Зелень деревьев размазалась в сплошную ленту, с примесью васильков. Все было движением, все было предвкушением радости.

Человек тридцать делали пересадку на «Моканиту». Долина расширилась, лесовоз ехал медленно, равномерные толчки нагоняли на Льва сон. Зеленовато-белая река то и дело оказывалась то справа, то слева от поезда. Поездка прерывалась лишь тогда, когда надо было утолить жажду локомотива.

Прибыв на место, Лев потерял братьев. Дорин снова появился рядом с ним у часовни. В дере-

вянных домиках было сумрачно и прохладно. Лев хотел положить свой рюкзак на нары рядом с рюкзаком брата, но кто-то другой его опередил. Его оттеснили, он уже хотел отойти, но тут услышал голос Дорина:

— Отвали, не видишь, здесь спит мой брат? Мужчина взял свою сумку и прошел дальше. Лев хотел поблагодарить брата, но тот даже не взглянул на него.

Солнце вырезало светлый треугольник на прогалине, где они собрались. Их окружил нарастающий, набухающий шум, который, однако, не становился громче, а напоминал аплодисменты из отдаленного зала или журчание воды в мягкой земле. Некоторые курили, другие беседовали, потом все пришли в движение. Минут через двадцать они добрались до места назначения. Мужчина со светло-рыжими волосами и в высоких сапогах разделил их на группы, объяснил меры безопасности. Вскоре Лев уже держал в руках топор с массивной головкой и получил задание — отсекать мелкие ветки с поваленных еловых стволов. Это и стало его задачей до конца дня. Поднять вверх руки, увидеть кусочек неба, ударить, завести прядь волос за ухо, отнести срубленные ветки в общую кучу. Задержать-

ся ненадолго, не настолько, чтобы кто-то мог подумать, будто работа для него трудна; затем медленно, медленнее, чем надо, вернуться к поваленному стволу — под рев моторных пил, звон ручных, стук топоров и падение дерева на лесную почву, заранее возвещенное громким криком.

В перерыв одни сидели вместе, другие держались в сторонке, и Лев тоже не чувствовал тяги к компании. Из провианта у него с собой были хлеб, сыр и вареные яйца; он сел под деревом и закрыл глаза.

Журчание, отдаленные голоса. Птицы.

Их пение как эхолот показывало глубину леса.

Хотя он был голоден, едва мог поесть. Думал о своем отце, пытался представить, как тот валил деревья, в какой хижине ночевал, с какими мужчинами дружил, и надеялся, что унаследовал от него определенную силу и умение. Лев зарылся головой в ладони и пытался подавить плач, который вырывался из его горла. Все причиняло ему боль, и он не имел ни малейшего представления, как ему дожить до конца дня.

Мужчину, который отдавал приказы, звали Имре. В лесу его слово было весомым. Ему не приходилось подкреплять свой авторитет криком

или силой, он просто обладал им.

— Вот ты, — окликнул он, и Лев инстинктивно понял, что обращаются именно к нему. Он опустил топор, которым как раз безуспешно пытался обрубить строптивую ветку. — Ты у нас кто?

Лев распрямил спину и назвал свое полное имя. Никто из рабочих поблизости не поднял головы, но было ясно, что все, действительно все, слушают.

Имре велел ему следовать за ним, и Лев, пытаясь избавиться от чувства унижения, пошел следом. Сейчас его отошлют домой, в первый же день, и он уже видел, как к нему бросится новая собака, как его встретит мать, удовлетворенная оттого, что она знала: он не выдержал.

Пока они шли к деревянной хижине, Лев разглядывал спину мужчины, его широкие плечи, крепкие руки, оценивал его походку. Лесная поступь, охотничья. Представить его на асфальте? Невообразимо.

Внутри хижины оказалось неожиданно светло. На письменном столе лежали книги и бумаги, второй стол, круглый, стоял в углу. Был здесь и кухонный уголок, и шкафчик с посудой. Когда Имре обернулся, Лев уловил что-то вроде улыбки, а может, сомнение. Он надеялся, что по нему не

заметно, как он устал, как растерян.

— Слушай, мальчик, я понятия не имею, чего тебе здесь надо, но знаю одно: у меня точно нет желания возвращать тебя матери без одной ноги. Будешь мне помогать после обеда.

— В чем помогать?

Имре подошел к столу, усеянному бумагами.

— Для начала в этом.

Вечером Лев отправился на прогулку.

Деревья вытянулись прямые, высокие и темные. Поверх голосов мужчин раздавался шум леса, трепет листьев, колебания веток; все шевелилось, хотя все стояло недвижно.

Поваленные деревья лежали в ряд и друг на друге. Пустошь, с обрубленными ветками, усыпанная хвоей. Одно дерево вывернуто с корнем; в земле Лев заметил что-то блеснувшее, кусок железа, в котором отражалось закатное небо. Земля по краям отсырела, корни торчали в воздухе. И ему вдруг показалось неправильным — валить деревья. Он положил ладони на ствол, на кору, что-то живое чувствовалось в этом дереве, и оно навсегда таким и останется, даже если будет обработано.

Лев шел в гору, но не поднялся. Здесь не найти точку, с которой можно было увидеть холмы

и деревни. Лучше остановиться, иначе он заблудится и станет посмешищем для лесорубов, если им придется его искать. Он сел на пень, съел принесенное яблоко. Будь с ним Халил, то сейчас запрыгнул бы ему на колени и свернулся калачиком. Когда Лев сидел неподвижно, кот запрокидывал голову назад, открывая глубокую белую шерсть на шее. Льву не надоедало изучать рисунок меха, который ближе к морде становился короче, и аккуратное углубление в хряще, словно бы проведенное ногтем.

Расставаться с животными — разве это возможно?

С кошкой точно нет.

Халил явится сегодня ночью и найдет его кровать пустой. И придет снова завтра, и послезавтра, и не поймет, куда подевался Лев.

Железнодорожники переговаривались сигнальными свистками. Вагоны загружались древесиной, елями и пихтами. Машинист высунулся из окна. Глаза его слезились. Ему приходилось постоянно вглядываться в рельсы, не было ли камнепада, опрокинутых стволов. На равнинных участках тормозной путь был длинным.

Раздался гудок, из локомотива вырвался пар, и, хотя Лев не принимал никакого осознанного

решения, ноги его сами пришли в движение: он бежал вдоль полотна, пока не выдохся и пока поезд не скрылся вдали. Было ли то чувство, которое охватило его, тоской по дому или просто чем-то схожим?

Дни начинались рано, ночи выдавались тягостными. Кто-то всегда храпел, кто-то выходил в туалет, какие-нибудь двое всегда переговаривались через спящих.

— Уж так оно есть, — говорили его братья. Мол, привыкнешь.

В первой половине дня Лев собирал ветки, пока они не оттягивали ему руки так, что он насилу мог есть в обед. Потом его забирал к себе Имре. Лев ждал этого момента с нетерпением, не скрывая от самого себя (только от других) радости. Имре быстро приметил, в чем Лев мог ему пригодиться. Государственные предписания добирались и до леса, не проходило и недели без официальной почты — Имре все это бросал в коробку, надеясь, что там нет ничего важного. Лев сортировал бумаги, подкладывал ему те, в которых выдвигались какие-либо требования, и придумал систему для тех, где просто перечислялись некие пункты или аннулировались предписания. Перерыв на кофе проходил у них в молчании. Только когда они

шли по лесу, Имре отказывался от своей скупости в словах.

Спрашивал ли себя Лев хоть раз, почему стучат по дереву, когда в чем-то клянутся или хотят отвести от себя недоброе, и знал ли он, почему судья стучит молотком по дереву. Нет? И поныне суд выводит свое могущество из тех стволов, которые они здесь валят. Люди знали или догадывались, что их собственные судьбы зависят от этих деревьев.

Лев узнал, что по кольцам можно считывать теплые, сухие, морозные и дождливые годы, когда дерево росло медленно или стремительно пускалось в рост. Имре рассказывал и курил при этом; дым выходил у него изо рта, когда он говорил. Светлая часть, так называемая заболонь, есть самая молодая, активная древесина. С возрастом ткань теряет жизненную силу и превращается у некоторых видов деревьев в сердцевину. Эта темная часть ствола — мертвая, но мертвая древесина несет на себе живую.

Деревья, сказал Имре, умирают, пока растут.

Дрожь, что предвещала падение. Треск, словно надламывается зуб. Шум. Тишина.

Льву потребовалось время, пока он понял рабочий процесс. В первые дни он стоял бестолково,

тогда как все остальные знали, что им делать. Мужчины валили дерево скоординированными движениями, удаляли кору, скругляли края так, чтобы стволы могли сползать по склону вниз, к месту сбора. Уже при раздаче инструмента все понимали, для чего те нужны: окорочная лопатка, шабер, расклинивающий нож, аншпуг, мотопила. Хуже всего было стоять и делать вид, будто разбираешься, хотя вообще ничего не знаешь и ждешь, что кто-то тебе объяснит — по возможности незаметно.

То и дело кто-нибудь о нем заботился. Был один лесоруб, Георг, который рассказывал самые интересные истории — сказки, как он их называл; он показал Льву, что самое главное в обрубании веток: надо проверить, не сцеплены ли они друг с другом, не натянуты ли, иначе ветка может отскочить с большой силой. И еще один из Молдовы, имя которого Лев не мог запомнить, стал ему помогать, и паузы между деревьями растягивались; время, которое проводишь с инструментом в руках, выглядело так, будто ты работаешь.

Дорин распределял провиант, разогревал привезенные консервы, варил кукурузную кашу. Его брат Валеа держал себя так же, как и дома: словно Льва и не существовало.

Лев приспособился к этому ритму, и не бывало ничего лучше, чем день, когда все спорилось и ему тоже не требовались слова.

Однажды он получил задание прибрать хижины.

Через какое-то время его движения разладились; он остановился, солнце скользило по полу полосами, света не хватало для помещения, заполненного койками. Ему стало трудно нагибаться, под нарами валялись носки, журналы, покатилась какая-то бутылка, когда он попытался ее подобрать. Пол, должно быть, с наклоном, подумал Лев, потом его перехватило судорогой посередине тела. Веник выпал из рук.

— Что случилось? — спросил молдаванин.

— Ничего.

Лицо мужчины раздвоилось.

Лев сжал руками живот, у него закружилась голова.

— Когда ты в последний раз был в туалете?

Лев покраснел, не ответил.

Молдаванин достал что-то, схватил его за руку и повел, как осла на веревке, к сортиру.

— Вот, — сказал он и сунул ему в руки полосу газетной бумаги, — садись и, культурно выражаясь, опорожни свой кишечник.

Лев стоял понурившись и вдруг почувствовал, как урчит у него в животе. Он уже неделю не был в туалете. Просто забывал сходить, а к тому же и стеснялся, потому что видел, как мужчины ходили туда иногда вдвоем или втроем. Едва молдаванин ушел, как он спустил брюки и сел над очком, радуясь, что больше никто не пришел и он остался один.

Лев лежал без сна и ждал утра. Он и спал в одежде, там все так делали. За окнами раздавались предрассветные звуки. По кровати пробежала мышка, быстро, беззвучно, он даже не успел отреагировать.

Он натянул одеяло на голову и пытался представить себе лицо Като, но у него это не сразу получилось. В лесу все, что имело к нему отношение, отошло куда-то далеко, хотя он был всего в нескольких часах езды от дома; эта лесосека была самой отдаленной из всех. Он думал о сияющих серых глазах Като, об ее обгрызенных ногтях, о выступающих косточках ее запястья.

Раньше они играли в одну игру, в мужа и жену. Они шли на реку Изу, к одному месту далеко от деревни, где был затон со стоячей водой. Бултыхались там, пытались утопить друг друга, и Льву казалось, что у него не хватает сил; он жаждал

мести — а она была уже давно на середине реки или на другой стороне, где темной стеной стоял лесистый склон. У берега собирался песок, и он находил ее в тине — неподвижную, как ящерка. Он ложился рядышком, песок под его спиной раздвигался. Его охватывала отвага, он оживлялся; шум течения, звуки леса, ее дыхание; и он быстрым движением перекатывался на нее. Три родинки на ее щеке продолжались до живота, он прочерчивал эту линию рукой. Она закрывала глаза, он тоже становился недвижимым, прижимался к ней нижней половиной тела, пока она не переворачивала игру. Теперь она оказывалась сверху, льнула к нему, и он чувствовал ее тяжесть, как перед тем она ощущала его вес. С лугов доносился стрекот миллионов кузнечиков, гул, который он чувствовал всем своим телом.

Лев тихонько надел свои башмаки и вышел наружу.

Это было время, когда взлетали птицы и тропинки начинали отличаться от окружающей земли. Позади валунов протекал ручей. Кроме шума воды ничего больше не было слышно, и Лев вздрогнул, когда Имре внезапно возник подле него. Они, не поздоровавшись, пошли к берегу. Лев ограничился умыванием лица, рук и шеи, а

Имре вымылся до пояса, потом дал ему свое полотенце и знаком велел следовать за ним. В хижине он поставил кофе. Они молча ждали, когда вода закипит и порошок осядет на дно кофейника.

Утро выдалось одним большим «до»: до того, как проснутся остальные, до того, как приготовят еду на весь день, до того, как возьмут бензопилы, колуны, до того, как наступит обеденный перерыв, до того, как его заберет к себе Имре, до того, как стемнеет, и он снова будет лежать в бараке среди остальных, и в нем станут тесниться воспоминания о доме.

Он размышлял, каково было бы навсегда остаться в лесу.

— А чего ты, собственно, здесь хотел? — спросил Имре.

Это Дорин рассказал ему историю Имре.

Неужто, мол, Лев верит, что такой человек, как Имре, добровольно проводил бы свою жизнь в такой глуши?

— Разве он похож на счастливого человека? — спросил Дорин.

Об этом Лев никогда не думал. Разве можно было разделять людей на счастливых и несчастливых? И на каком основании это делать? Имре был молчалив, жил погруженным в себя. Но, по

разумению Льва, так поступают все: Бредика, Дорин, Валеа, буника, Ферри, а также его мать Лиз. Важным они не делятся. Даже с Като у него было так же, хотя иногда он хотел бы другого.

Имре вставал первым и ложился последним. В его хижине часто горел свет до поздней ночи. Хотя этот человек, казалось, почти не спал, он не жалел себя ни для какой работы. Лев не раз видел, затаив дыхание, как тот впутывался в ситуации, которых любой другой избегал бы.

У Имре был сын, сказал Дорин, он погиб в восемь лет.

— И как это случилось? — спросил Лев.

— В автокатастрофе.

Его брат сделал паузу.

— Имре был за рулем.

Крики, шаркающие шаги, немного похоже на шум в школьном дворе. Что-то в лице его собеседника изменилось. Имре, который изучал таблицу, выругался и выбежал наружу.

Лесорубы образовали круг. Лев присел на корточки, заглянул внутрь круга между ног. То, что Валеа был вовлечен в драку, его не удивило; удивительно было то, что он лежал внизу. Имре растаскивал драчунов, приказав собравшимся не стоять без дела на дороге — lábatlankodni, крик-

нул он, что человек рядом со Львом перевел как «расцепитесь». Мужчины неохотно разошлись, словно надеясь на новую схватку.

— Нельзя такое допускать, — сказал Имре и помог Валеа подняться на ноги.

Его брат не вырывался, но и не делал ничего, чтобы помочь, так что Имре пришлось тащить его на себе. Он велел Льву приготовить горячей воды и тряпку.

После того как рана Валеа над его глазом была обработана, лицо умыто, Имре налил водки.

— Послушай, я должен наказать вас обоих. Почините все инструменты. Если так не сделать, у меня здесь каждый день будет драка.

Валеа лишь пожал плечами и вытянул ноги на стул. Даже теперь даже здесь он не выказал слабости. Иногда Лев боялся, что и его отец был таким же: неприступным, враждебным, только уже забыл про это.

— Что произошло? — спросил Имре.

— Ничего, он сучий потрох.

— Да вы все тут такие.

Оба засмеялись.

Валеа, который до сих пор не обращал внимания на Льва, повернулся к нему и сказал, чтобы он убирался отсюда. Лев неохотно подчинил-

ся. Мужчины, которые ждали перед бараком, смотрели ему вслед. Лев догадывался, что они о нем думали: он не только брат Валеа и Дорина — мальчишка, который очень быстро попал в хижину Имре.

Хотя его братья входили в число самых молодых лесорубов, они получали лучшие инструменты, а когда по вечерам бывало вино, им наливали первым. Когда молодой рабочий, который — как Лев — попал сюда впервые, хотел сесть рядом с ними, ему объясняли, кто такие Лев и его братья. Богато украшенные ворота их домов показывали, что его семья не такая простая. Буника никого не оставила в неведении: ее предки еще в восемнадцатом столетии сажали деревья с австрийскими и саксонскими колонистами, прорежали леса, сплавляли плоты по Тисе — от Лесистых Карпат до Нови Сада.

Лев понимал, что эта история здесь имела значение. Что она и здесь была историей, но такой, в которую верили.

Каждую пятницу срубленные деревья транспортировались, подвозились продовольственные запасы, рабочие уезжали домой. Каждую пятницу Лев стоял у поезда, чувствовал ту тягу пониже пупка, которая звала его прочь отсюда. Лишь

немногие оставались в выходные на лесосеке; потому что дорога была дальняя, потому что никто их не ждал, или они хотели, как его братья, подработки. Когда Лев приходил в хижину Имре, тот чаще всего был углублен в книгу и отсылал его прочь. Он учился играть в карты, в вист и покер, и спал ночи напролет, наконец-то. Вечером Георг рассказывал свои истории. Про водяной миндаль и душевных птиц, про туманных женщин, которые превращали людей в камни.

Работа продолжалась и в выходные, Лев любил эти сокращенные бригады, все делалось тише, слаженнее, и на обед он не уединялся, а ел вместе со всеми. Особенное доверие он испытывал к тому рабочему, Маттису, который хотел сидеть рядом с его братьями. Они разговаривали друг с другом, будто старые знакомые. Без какого-либо хвастовства, которое служило лишь тому, чтобы произвести впечатление на других, и заносчивость мальчиков из его школы теперь казалась ему смешной. Они бахвалились своими выходными, хотя на самом деле с ними ничего не происходило; только лежали в своих кроватях, о чем-нибудь фантазируя. Он не хотел об этом думать, но Фабиу уже давно не был его другом; их связывали только давние переживания, и, если

быть честным, ему не нравился парень, которым он стал.

В одно воскресное утро он проснулся рано, разбудил Маттиса. Они выскользнули из барака и пошли по лесу. К этому времени Лев знал, как ориентироваться, и находил дорогу, не рассыпая за собой ни хлебные крошки, ни камешки. Маттис был на два года старше и уже окончил школу. Его предки родом из Словакии, жители гор и лесорубы, но он хотел стать педагогом и учиться в Германштадте, чтобы продолжить обучение на немецком языке в Обервишау. Лев заметил, что тот волнуется. И боится. Они составили список того, чего не надо страшиться (ночной лес, туманные женщины, переезд в новый город), и приняли решение не устраивать свою жизнь вокруг страхов.

Через три четверти часа они добрались до смотровой площадки. Сели на скалу и смотрели, как над горами восходит солнце. Два ворона совершали свой танец на небе, не отдаляясь друг от друга более чем на два размаха крыльев; они парили, обрушивались вниз, поднимались вверх, окружали один другого и снова падали вниз как черные камни.

Войти в лес — все равно что ступить в церковь.

Чувство времени пропадало, менялись предпочтения. Лес был внутри, остальное — снаружи. Еще несколько недель тому назад Лев утверждал бы, что все наоборот. Двор, деревня, его семья, Като — они находились где-то по ту сторону этого леса, в каком-то недействительном, малозначимом мире.

Некоторые деревья оказывались еще неприступнее, чем любой из известных ему людей. Были и такие, которые склонялись друг к другу, росли в определенном направлении — по необходимости, предупредительности или из опасения, обретали черты, отличавшие их от остальных. Раньше для него это был просто лес, теперь же Лев учился видеть деревья как отдельные существа.

Имре указывал ему на мох, грибы, жуков и насекомых, на цветы — такие, как фиалки или ветреницы. Если встречалось двухсотлетнее дерево, это означало, что оно двести раз отращивало новые листья, служило для кого-то пищей, противостояло ветрам, подвергалось долгим зимам, бурям, засухе и сырости, чтобы выдерживать нечто большее, чем мог себе представить человек. Если дерево умирало, оно становилось средой обитания для животных.

Имре был другим. С другой речью, другим

взглядом. Все показывало это: книги в его хижине, посуда, которой он пользовался. Однажды во время их кофейного перерыва Лев спросил, почему тот здесь. По виду Имре казалось, что он так ничего и не ответит, и Лев уже пожалел, что прервал их обоюдное молчание.

Он ищет одну подземную реку, сказал Имре. Если испить ее воды, забудешь свое прошлое.

Каждый день Лев бродил по лесу, пока не обнаружил дерево, которое словно бы поджидало его. Он прислонился к стволу, посмотрел вверх, на ветки, на крону, надеясь, что с этим деревом не случится того, что с теми, далеко внизу, которые — без коры и веток — ждали, когда их отправят по узкоколейке. А если и случится, то древесина запомнит услышанное: запутанное пение певца лесной листвы, которого почти никогда не видишь, но всегда слышишь; стук черного дятла с его красным пробором на голове; бесстрашно-любопытную зеленушку в прибрежных кустах. Иногда у Льва возникало чувство, что дерево ему отвечает. И что он, сам не ведая того, очутился на другой стороне природы.

Крик прорезал тело Льва как острый нож. Он отдал своим ногам приказ бежать. Один шаг, еще один. Не останавливаться, не оборачиваться,

дальше.

Маттис лежал на земле. Имре присел перед ним на корточки, и, пока он его обследовал, подошли мужчины с носилками. Они подняли раненого, понесли его к машине с кузовом, чтобы отвезти в ближайшую больницу. Маттис был без сознания: крупная ветка ударила его по голове.

В этот день больше никто не работал. Все сидели, курили, говорили. Один сказал: в дереве прятался черт. Когда Имре вернулся, он выставил на стол несколько бутылок водки, и стало ясно, что они не пойдут спать, пока не выпьют все это.

— Он в коме. Ему повезет, если снова очнется, сможет ходить, говорить, если не…

— Я его не видел, — сказал один из мужчин. — Я…

— Это была мертвая ветка, — перебил его Имре.

— Но если…

— Все подтвердят, что это был несчастный случай.

Все поддакнули, но слова Имре не доходили до мужика. Он срубил дерево и не видел Маттиса. Лев знал это чувство вины, тут ничем не поможешь. Валеа подвинул к нему полный стакан водки. Когда он ее выпил, брат бросил на него

такой взгляд, который он не мог истолковать, и снова наполнил его стакан.

Лев опрокинул его за раз, у него началась икота.

Запах лаванды, шум воды, наполняющей ванну; лицо Маттиса, его безжизненное тело ушло в другое тело, в другое лицо.

Он давно не думал о ней.

Ночь. Темная, безудержная ночь. Что-то выворачивалось, его желудок, его голова, койка, хижина, земля. Лев вытянул ногу из кровати, вращение замедлилось. Потом они вдруг оказались здесь — Лоня и Силас. Они укрывались в коловращении вещей, в уголке его сознания, и это требовало умышленной остановки, замедления мира, чтобы они снова выбрались оттуда.

Он рывком сел, сунул ноги в ботинки, точнее, думал, что это сделал, стал пробираться на ощупь мимо коек; они стояли тесно, теснее, чем обычно, ушиб колено, услышал ругательство, ругнулся в ответ, открыл дверь и поспешил в лес. Почему в лес, подумал он, ты же и так в лесу, всегда в лесу, и что-то в этой мысли показалось ему таким абсурдным, что он чуть не рассмеялся. Споткнулся обо что-то, упал, снова поднялся, пошел дальше, пока не добрался до часовни. Через боковое окно

высматривал портрет над алтарем. Он там висел, где-то в темноте, императрица Елизавета. Лев опустился на колени, и его вырвало.

Имре нашел его утром.

Отвел к себе в хижину, дал ему одеяло.

Они не разговаривали, и Лев был рад, потому что все причиняло ему боль, его тело замерзло в ночи, особенно босые ноги. Он откинулся на спинку стула, выпил кофе, который приготовил Имре, ничего более вкусного ему до этого пить не приходилось.

— Послушай-ка, парень, дам тебе один совет. Садись на первый же поезд. Беги отсюда подальше, как можно дальше. В какой-то момент это у тебя уже не получится. Тогда лес начнет удерживать тебя, ты еще будешь мечтать о другой жизни, но уже никакая дорога тебя отсюда не выведет.

Как и каждую пятницу, лесорубы собрались у железной дороги. Грязные, одичалые, но все же сплоченные — сообщество, связанное клятвой. Поезд уже стоял наготове. Машинист маневрировал со слезящимися глазами, подцеплялись дополнительные вагоны. Когда локомотив издал свисток, Лев вздрогнул. Он уже помылся в ручье, все обошел, лесосеку, свои любимые деревья, хижину Имре. Еще раз прислушался к звукам,

к тишине, которая не была тишиной; птицы, бормотание листьев, ветер в елях.

Им сообщили, что Маттис очнулся. Имре выписал чек, Лев написал открытку. Успеет ли он выздороветь так быстро, чтобы поспеть к началу семестра в Германштадте, оставалось под вопросом, но он выжил, пришел в себя, мог говорить, и Лев, который после несчастного случая с Маттисом недоверчиво косился на каждое дерево, был счастлив сверх меры.

Он изготовил список — как сортировать поступающую почту, объяснил Имре систему архивирования. Чтобы тот сам управлялся, на всякий случай.

Да, на всякий случай, повторил Имре.

Он чувствовал купюры в кармане брюк, свой заработок за все лето. Дорин оставался там до конца месяца, Валеа на следующие выходные ехал домой. А Лев?

— До следующей недели, — сказал Лев.

— До следующей недели, — ответил Имре.

Как легко получалось говорить неправду.

Лев медленно шел к Като, медленнее, чем следовало бы при той радости, которую он испытывал. Был ли он ошеломлен, когда увидел ее? Смутился ли, когда она обняла его на глазах мужчин у уз-

коколейки? Он обнял ее в ответ, встретился с ней взглядом; или, может, наоборот: это она ответила на его объятие, на его взгляд, — невозможно было определить точно.

— Откуда ты узнала?..

— Я ждала каждую пятницу.

— Все лето?

Она кивнула.

Кто-то его толкнул, доверительно, в качестве приветствия, и ему не надо было оборачиваться, чтобы понять, кто это. Разом его робость исчезла, он много пережил, и понадобится много времени, чтобы рассказать обо всем Като (действительно обо всем?).

— Ты снова уедешь?

Лев сказал, нет, и ему показалось, что ее шаг стал легче от этой новости. В нем тоже что-то сложилось заново, возникла уверенность, предвкушение радости быть дома. Переулки сухие и пыльные, луга скошены, сено давно в скирдах. Дома тоже что-то изменилось — не слышался лай.

— Пакса на лето отпустили с привязи, — сказала Като.

Ему не так уж и хотелось встретить эту собаку на воле, но у него возникла догадка, сколь самодостаточным стало это время для его матери,

как свободна она оказалась в своих решениях. И его больно кольнуло, что без него здесь все шло своим чередом, как ни в чем не бывало.

Лиз вышла из веранды, взяла у него рюкзак. Ей не надо было сообщать, останется ли он, пойдет ли снова в школу, она все это видела по нему. Он поймет глубину ее чувства облегчения лишь много позже.

Буника обронила замечание о том, как от него пахнет. Тем не менее обняла его, и в своем удивлении от этого непривычно нежного жеста бабушки он поначалу не заметил, что происходило во дворе. Взгляд матери омрачился, ладони Като сжались в кулаки.

Валеа снова посадил собаку на цепь.

Пакс лаял, вырывался, его голова и тело находились в примечательном отклонении друг от друга, как две несовпадающие части. Когда пес цапнул Валеа, тот дал ответного пинка.

На следующее утро Лев проснулся рано, удивляясь отсутствию птичьего концерта. Было слышно, как дует легкий ветер.

Сила ветра четыре, подумал Лев, шевелилась маленькая ветка.

Он лежал в постели, в домашней тишине, в чистой комнате, ощущая это всем телом. Никто

еще не проснулся, только потрескивали доски пола — обычные утренние шумы, как будто дом потягивался со сна.

Лев прошел босиком по коридору в горницу. Вчера вечером вещи Лиз оставались на столе: журналы, вязанье, тетради; сейчас ничего этого не было.

Халил спал на мягкой обивке стула.

Кот вчера вечером тоже находился тут, и, когда Лев разбирал свой рюкзак, Халил принюхался к грязной одежде и, недолго думая, пописал на нее. Более ясно выразить свое отношение он не мог. Мать не нашла это забавным. Кот, по ее словам, в последние недели едва показывался на глаза и тут сразу же блеснул отсутствием воспитания.

Из окна Лев увидел, что какая-то фигура приближается к собачьей будке. В утренних сумерках проступали лишь смутные очертания, курятник, сарай, ворота — и в какой-то момент ему показалось, что он еще спит, потому что из собачьей будки не донеслось ни звука.

Пакс выбрался наружу и терпеливо ждал, когда его спустят с цепи.

Силуэт удалялся в задний сад, остановился и призывно похлопал себя по колену. Пес помедлил, как будто не сразу мог стряхнуть с себя

тяжесть цепи. Он насторожил уши, издал короткий визг. И потом последовал за тенью.

Лев быстрым движением отдернул занавеску.

Като обернулась к его окну, заговорщицки приставив ко рту палец.

Три

Тут собрались все птицы и дикие звери, и кошка выбрала самые красивые, разноцветные перья, сделала из них плащ, который блестел и сверкал, как звездное небо, и отдала его мальчику[9].

Льву приходилось лежать.

Он просто подчинился.

Лежать ночью. Лежать днем. Лежать.

Для него соорудили кровать с подъемным изголовьем. Ему был предписан покой, вдали от всего и от всех, как на корабле безбилетному пассажиру, которому приходилось прятаться.

Прятался ли он?

Улыбка матери появлялась на ее лице, только когда она входила в комнату. Улыбка, призванная его успокаивать, улыбка, словно пара ладоней на глазах, теплых, темных. Братья приходили редко, а когда заглядывали, то говорили мало. Но они и в прежние годы говорили мало; в годы, когда он ходил, сидел, бегал, плавал в реке с другими; они

---

[9] Примечания: 9

«Пернатый кораль», трансильванская сказка.

поначалу навещали его, потом бывали все реже, а затем перестали приходить. А зачем? У Льва ведь ничего нового. Ему не о чем рассказать, да и, если начистоту, к их рассказам он тоже не испытывал интереса. Предыдущее время казалось ему испытательным сроком. В какой-то момент он должен был выпасть из заведенного порядка и теперь стал довеском; таких обычно держат в задних помещениях. Может, даже мать однажды его забудет. Ее посещения станут все реже, а потом совсем прекратятся. Когда-то потом его найдут, кто-нибудь толкнет дверь и скажет: э, да тут кто-то есть. Другие тоже подойдут и скажут: Лев, это же Лев, мы забыли про Льва.

В его комнате было окно, но с кровати через него виднелась только шиферная крыша сарая, иногда голуби на ней, набухающий свет по утрам — и как он опять исчезает. Лев вспоминал прошлое, когда он вставал с постели, не растрачивая ни одной мысли на свои ноги, которые несли его — в ванную, на кухню; как он изо дня в день спускался по ступеням на веранду, спрыгивал вниз, пересекал двор и выходил за ворота на улицу. Как он с друзьями после школы бродил по горам, как двигались холмы — точно люди, они всегда пребывали в движении: рядом с людьми, перед

ними, позади них. И его тело — в пространстве где-то среди этих поворачивающих, шатающихся, колеблющихся холмов.

Он вспоминал, как они брызгались у ручьев, так что одежда облепляла тело. Как обыскивали хижины пастухов. Как разоряли муравейники и таскали яйца из птичьих гнезд. И еще вспоминал, как они привязывали майских жуков ниткой к карандашу и смотрели, как те летают по кругу. Вентилятор, кричали они, попеременно поднося майского жука к лицам. Это длилось долго, пока силы не покидали бедных насекомых. Про жуков забывали, бросали их вместе с нитками. Лапки жуков, наверное, запутывались, думал Лев. Теперь кто-то побольше связал ноги и ему, чтобы он знал, каково это. И Лев отворачивался к стене и прятал там лицо.

Он просыпался в шесть, когда слышал шаги матери (тихие, торопливые) в коридоре. Лампочки слегка гудели, вода кипела, постельное белье перетряхивалось и вывешивалось в окно. Ветер поглаживал веранду, хлопал дверьми. Потом следовали шаги братьев на лестнице, последними раздавались шаги сестры. Кукареканье петуха, стук копыт с улицы. Иногда кто-то кричал кому-то в открытое окно, иногда разговаривали

— слова разбегались и двигались навстречу друг другу. Собака принималась греметь цепью, открывались дворовые ворота. Голос почтальона, смех матери. Он так и видел ее перед собой, как она поднимается по ступеням к дому, на ходу открывая почту, оставляя ее на столе в комнате. Сейчас потянется по дому запах поджаренного хлеба, кукурузной каши, сваренной так густо, что ее можно нарезать на ломти. Братья потребуют сливок, а когда управятся, мать с Бредикой затеют мытье посуды и потом, когда все разойдутся кто куда, примутся есть консервированную айву. Затем надолго воцарялась тишина. Лев слышал лишь собственное дыхание, шорох одеяла, когда он двигался, иногда птицу или стук вдали. Он вытягивал конечности, пока ему не начинало казаться, что он уже длиннее кровати, больше дома, да он вообще сюда не помещался. Кто-то его сюда втиснул, в этот кукольный домик, его, Льва, великана, Льва, победителя мира.

Потом постепенно возобновлялся ритм дома, шумы рассказывали, что происходит, кто заглянул в гости, кто чем занят, кто с кем ссорился, помалкивал или давно ушел. Так длилось до вечера. Лев не знал, как ему заснуть, проведя целый день лежа в кровати. Его мать что-нибудь

ему читала, потом они молились, прощались поцелуем в лоб. Его дверь оставалась открытой на щелочку, чтобы в комнату падал свет, когда его сестре надо было в туалет; мать еще что-то делала, Валеа поздно вечером уходил. Поначалу Лев приписывал каждому звуку какое-то действие, быстро переводя его в образы, так что ему не приходилось задумываться об этом. Время от времени к дыханию дома примешивалось что-то неведомое. Иногда ночами ему казалось, что по коридору крадется зверь, он настораживался, прислушивался, но поскольку ничего не слышал, то приходил к заключению, что ему, должно быть, примерещилось. Лев узнал, что ночью дом тоже бодрствует. Что они оба не спят и он к нему прислушивается.

Мать мыла его, взбивала подушки, меняла белье. Приносила еду, воду, ночной горшок, свежие пижамы, книги. Всякий раз, приходя, гладила его по лицу, и он ощущал запахи кухни, сада и улицы. Поздняя осень с ее сухими холодными днями уступала место зиме, и Льву казалось, что сквозь закрытые окна он слышит, как идет снег. Снег приглушал ближние шумы и приближал дальние. Наступил мороз, каждый шаг — звонкий скрип; и жесткий, шаркающий скребок снежной

лопаты разрезал утро.

Его сестра насыпала семечек за окном Льва, воробьи и синички слетались их клевать. Они возвещали о себе щебетом, вероятно сообщая друг другу, что здесь есть корм, а может, приносили Льву какую-то весточку. Птицы появлялись по очереди, сперва синички, потом воробьи, одна за другой кричали, клевали, улетали, и Лев в продолжение этой игры был с ними по ту сторону окна, по другую сторону комнаты.

С ума она, что ли, сошла, ругался Валеа, скармливать птицам семечки, еще бы сыр выложила за окно, хлеб, молоко? Птицы прилетали еще несколько дней, стучали клювами в стекло, должен же был он понять, что они хотят есть. Лев затыкал уши, закрывал глаза, пока за окном не становилось пусто.

Он вспоминал свой день рождения, который провел с братьями и сестрой на реке. Они искали на Изе камешки, и когда Валеа находил особенно красивый и показывал ему, Лев брал камешек у него из рук, любовался им и потом, размахнувшись быстрым движением, швырял его в реку. Он раскаивался в этом, когда видел слезы Валеа, и раскаивался теперь, уговаривая себя, что они могли бы стать друзьями, если бы он этого не делал.

В это время года взрослые не сидели на скамейках у ворот. Вечерняя жизнь протекала в доме. Лев слышал их голоса, иногда кто-нибудь играл на аккордеоне, запах сигаретного дыма тянулся по комнатам. Некоторые гости заходили к нему, но это были короткие посещения, его осматривали как предмет мебели.

Лев не мог спать, сцеплял ладони на затылке, смотрел в потолок, прислушивался к дыханию дома. Он не знал, то ли спал, то ли видел сон, то ли бодрствовал, да и был ли вообще. Так проходили хорошие ночи. Ночи, в которые все растворялось: мысли, тело, кровать, комната, дом. Растворенный Лев переходил во что-то другое, в темноту, в ночь и дальше, за ее пределы.

В последнее время по утрам он слышал шаги в прихожей. Тихие шаги, шуршание наброшенного халата, скрип двери. Спустя несколько минут эти звуки повторялись в обратном порядке: дверь дома, шуршание, шаги. Туалетная будка в саду обычно ночами не использовалась, и тот, кто выходил «на двор», хотел побыть один. Была ли это его сестра? Никто другой в семье не мог открывать дверь так тихо (для этого требовалось приподнять дверь за ручку). Некоторые люди не замечали, какие шумы они производят. Его

братья во всем, что они делали, были шумными, их шаги — тяжелыми, они со стуком ставили на стол стаканы, переговаривались между собой через закрытые двери комнат. Сестра не такая. Вещи тянулись к ней, тарелка сама давалась в руки, полы расстилались ей под ноги, и когда она хотела что-то сказать, то не ленилась проделать те необходимые несколько шагов к другому.

— Бредика?

Шаги замерли за дверью.

— Бредика?

Она так быстро очутилась около него, словно и не было никакого расстояния между дверью и кроватью. Он почувствовал, как она села, еще прежде, чем различил в темноте ее лицо.

— Как ты узнал, что это я?

— У меня ночное ви́дение.

Она подавила смешок.

— Ты не заболела? — спросил Лев.

— Хуже.

Что может быть хуже, удивился он про себя.

Она отрицательно помотала головой, погладила его по лицу. Он отвернулся. Почему его все гладят, почему они с ним не говорят?

— Что бы то ни было, ты должна сказать об этом матери.

Но Бредика ничего не ответила; прошли две следующие недели с ее ночными выходами в сад, пока она наконец не заговорила.

Это начиналось с шагов, с разведения огня, кипячения воды, заваривания чая, звона ложечки, сахара, окликов, усталости. Начиналось с мисок, полотенец, чашек, ножей. Ладони охватывали лопату, веник, котелок, выгребали золу, снег, разрыхляли землю. Они насыпали кукурузу курам, задавали сено корове, латали простыни, вытирали пол, мыли посуду, забивали гвозди, кололи орехи, носили дрова, укладывали в ряд початки кукурузы, чистили картошку, подносили стакан ко рту.

Лев инвентаризировал шумы. Он знал их последовательность и цель. Мать почти не производила шума, хотя все время была чем-то занята. Дорин бурно давал знать о своем присутствии, Валеа был как тень, которая затемняет дом. Бредика же — мелодия дома, она единственная, кто находил причину для смеха, пел, рассказывал историю. Иногда она среди дня садилась на его кровать. Большинство приходили с упакованным, отмеренным запасом времени. Лев мог уже с порога оценить длительность их посещения. Оно было написано на лице входящего,

обозначалось его ногами, руками, спиной. Он видел это по взглядам в окно, по постановке ступней, наполовину обращенных к двери. Они приходили ненадолго, заглядывали, забегали на минутку. Бредика приходила, не задавая границы. Приносила ему бусы и браслеты, которые в ее шкатулках чудесным образом запутывались, и он их терпеливо распутывал. Садилась на его кровать, он отодвигался в сторону, уступая ей место, и они болтали.

Соседка ночует со своим теленочком в хлеву.

У Нелуса живот еще круглее, чем сыры, которые он производит.

Тетя Анюта божится, что ее икона Девы Марии слезоточит.

Бондарь скончался.

У Сиги во рту считай больше нет ни одного зуба. Иза встала под лед.

Привидение в комнате бабушки опять появилось.

Бредика могла рассказывать так, что все было тут, врастало в комнату Льва, доставало до его кровати. Пока ночь и тишина снова не налягут на дом и пока снова не придет утро. К свету дня примешивались робкие слова; кипение воды, немного сахара, немного тепла. Пока снова не

начнется.

Свадьба его сестры была назначена на середину декабря, зимняя свадьба, ледяная женитьба, как она говорила.

Пришла буника и расставила своей внучке свадебный наряд пошире, потому что если присмотреться, то можно было заметить у Бредики живот, округлость, к которой она время от времени прикладывала ладони. Лев не видел, как приходили соседки, чтобы обсудить с его матерью праздничную еду, не видел, как Бредика время от времени уходила, не видел, как она отклеивала жемчужины со своего венца, одну за другой. Лев не видел, как буника и мать встречались с родителями жениха, чтобы определиться, кто что будет делать, кто сколько должен платить. Он не видел, как его сестра однажды ночью встала, чтобы лечь в снег.

Он ничего не видел. Но слышал в кухне голоса женщин, падение жемчужин, слишком громкое, дружный смех. Распознавал ночное смятение Бредики, ее шаги, на сей раз босиком, шорох ночной рубашки, звук входной двери дома. Однажды ночью обратный порядок звуков не состоялся, и Лев, вытянувшись в кровати, ждал. Он таращился в темноту, густую, непроницаемую и полную

звуков, он прислушивался к саду за окном, и ему чудилось, что он видит свою сестру, холодную, как снег, прямую, как он, дни и ночи напролет вытягивавшийся в этой кровати. Она лежала на зимней, ледяной постели, ровно, спокойно дыша. Мир был ощутим, прозрачен, но недосягаем. Он уже хотел позвать мать, как услышал звук входной двери, быстрые шаги, хриплое дыхание сестры.

Лев только теперь заметил, как у него стучат зубы, натянул одеяло на голову, дышал ртом и спрашивал себя, почему он раньше, все это время не обращал на нее внимания, на свою сестру, своих братьев, на тысячекратные шумы, нескончаемую череду звуков занятости, ярости, любви.

В день свадьбы Лев перебрался на носилки, к которым приделали колесики. Мужчины вынесли его наружу, покатили вдоль по улице до амбара, в котором состоялась свадьба. В церковь его не возили. Носилки были бы неуместны в церкви, сказала буника, чего Лев не понял. Если он представлял себе Бога, то в лежачем виде, на боку: чтобы он мог видеть, что делается на земле.

Свадебное шествие Лев пропустил, но все-таки, приподнятый на нескольких подушках, наслаждался поездкой. Еще раз взглянуть на дом со

стороны, на ворота и скамейку, встроенную между столбов, украшенных резьбой. Другие жители деревни выносили свои лавки из дома, кто-то на двоих, другие — на троих или на четверых человек, но никто не мог усадить в ряд целую дюжину. Как только потеплеет, люди сядут у своих домов, будут разговаривать, курить, прислонясь спиной к дереву.

Мужчины катили носилки по улице, мимо соседних домов, заборов, ворот. На том месте, где главная улица переходила в дорогу к соседней деревне, дома кончились. Кровать Льва на колесах тряслась на камешках и ямках, подушки и одеяло сползли, как нарочно, перед домом Фабиу. Фабиу, который на Иванов день поджигал шины, который всегда выигрывал в шары; Фабиу, который навестил его всего лишь раз. Упавшие подушки и одеяло Льва отряхнули и снова положили на носилки. Брюки все равно подмокли от растаявшего снега. Но раз уж он ехал, не поворачивать же назад.

Улица снова стала уже, шла в гору; Лев еще раз оглянулся, как будто Фабиу мог в любой момент появиться у ворот, прислонясь спиной к стене дома, с тем своим взглядом исподлобья. Как будто Лев мог подняться с носилок, побежать к нему,

они пошли бы по дороге за домом туда, где мир состоял только из холмов, волнистых, бугристых холмов, которые тянутся во все стороны, пока не достигнут горизонта — горы и облака там льнули друг к другу, как Фабиу и Лев, и их слова были бы неотличимы от шума ветра над скованной льдом рекой.

Зимняя свадьба имела то преимущество, что еду и свадебный торт можно было приготовить загодя. Без большого воодушевления наполнялись тарелки и рюмки, гости сидели за длинными столами. У задней стены расположился стол жениха и невесты, покрытый тканой скатертью, во всю ширину амбара тянулись гирлянды из крепа, изготовленные деревенскими детьми. Бредика почти не притронулась к своей еде. На ней были белая блуза с кружевными рюшами, юбка, жилетка и opinci, ботинки на шнуровке. Глаза подведены черным карандашом. Венец закреплен лентой. Лиз искусно заплела ей волосы. Красивая, вся в мать-покойницу, говорили женщины.

Бредика принимала поздравления, ее муж Ион, в рубашке и жилетке, упрятывал конверты. Она разговаривала со своими подругами, соблюдая дистанцию, словно уже отстранилась от их кру-

га. Играли музыканты, Бредика и Ион держали друг друга за плечи, кружились, описывали небольшие круги на танцполе, выражение лица Бредики смягчилось, упрямство исчезло.

Носилки Льва стояли в сторонке. С потолка амбара на его ложе спустился паук, скрылся между рейками. Старые женщины в черных платках тоже сидели в стороне. Всюду создавались небольшие группы, гости, сбившись в кучки, беседовали, пили. Дети играли. В середине амбара танцевали пары. Женщины подходили ко Льву, гладили его по лицу, он ощущал их ладони, шершавые, нежные, морщинистые, чувствовал их жалость, любопытство, доверие. Подошли к носилкам две девушки из его класса, разглядывали его, точно диковину, выставленную на обозрение. Лиз отвезла его в туалет, помогла, принесла ему еду и питье, поправила подушки, а Лев не хотел этого, не на сей раз; в такой вечер он предпочел бы выглядеть так, будто управляется самостоятельно. Он попробовал принять безучастно-гордый вид, как у его сестры. Но это вскоре стало крайне утомительно. Он наслаждался вечером. Слушал музыку (скрипка, гитара, барабан), отмечал все мелкие и крупные истории, которые разыгрывались на свадьбе. Пригодится потом рассказать все

Бредике. Но пока копил эти истории, сообразил, что поведать их не получится. Когда он вернется домой, ее там уже не будет.

Когда впоследствии Лев думал о своей сестре, он долгое время представлял лишь одну картину, будто все остальные стерлись. Он видел, как она кружится, как взлетает подол ее юбки, видел, как ее лицо становится мягким, и он надеялся, что она что-то обрела в своем браке.

Возможно, что-то похожее на счастье?

Танцплощадка наполнялась, некоторые пары танцевали хорошо, а другие переступали с ноги на ногу или стояли как вкопанные, покачиваясь только туловищем, словно былинки на ветру. Кто-то вскочил на стол, рюмки упали на пол. Им оказался отец жениха, он пыхал сигарой, дым окружал его, образовал вокруг него ореол. Он плясал на сдвинутых столах, часть посуды разлетелась, мужчины хлопали в ладоши, ободряя его, тогда как буника, явно не удивленная и не возмущенная, взяла метлу, чтобы подмести осколки. Посреди этой суматохи Лев осознал, что кого-то не хватает. Не приехал дедушка из Трансильвании. Он неделю назад занес свой конверт для новобрачных и заглянул ко Льву, держась с той сдержанностью, которая не оставляла его со

времени их поездки на курорт. Никто, насколько знал Лев, не сделал деду ни одного упрека после того несчастного случая.

Тут отец жениха слез со стола, грузный, без прежнего куража (как будто спускался по склону гор, вершины которых скрывались в сигарном тумане). Буника протянула ему черенок метлы, чтобы он смог за него держаться. На танцплощадке мужчины образовали хоровод, крутились под музыку, обгоняли ее, содержимое чьей-то рюмки пролилось, муж Бредики смеялся, лежа на полу.

Лев заметил в сторонке мать и своего дядю, погруженных в разговор так, будто окружающее веселье им совсем не мешало. Брат его покойного отца был директором отеля на Черном море, рослый мужчина со скупыми, уверенными жестами и бородой с проседью. От него исходило неукротимое жизнелюбие, но также и строгость, так что Лев в его присутствии всегда немного робел. Он напоминал ему отца, только без привычной нежности. Его дядя редко бывал тут в гостях. А когда приезжал, неизменно ввязывался в спор с Валеа. Лев почувствовал укол от одного его вида и хотел, чтобы это чувство распуталось так же легко, как узелки на бусах Бредики.

Двое мужчин везли Льва в эту ночь домой.

Дорога, должно быть, стала еще более ухабистой, в какой-то момент мать понесла его одеяло в руках, потому что ей надоело то и дело за ним нагибаться. Лев лежал неукрытым в ночном воздухе, крепко держась за края носилок обеими руками. Один из мужчин сказал, что ему надо отлучиться, и, пока Лев раздумывал, что бы это значило, ушел и другой. Тогда мать накрыла его одеялом и подоткнула его так крепко, что Лев едва мог пошевельнуться. Она выжидательно прислонилась к носилкам, принялась ругаться. Эти проклятые пьянчуги, сказала она, сбежали.

— Что же нам делать? — спросил Лев.

Лиз попыталась сдвинуть с места это ложе на колесах, но через несколько метров оно застряло, и она сдалась.

И принялась смеяться:

— Подождем.

— Чего?

— Что нас кто-нибудь найдет.

— А если никто не появится?

Лев принялся ворочаться под покрывалом, пока не высвободил одну руку.

— Присядь, — предложил он.

Она глянула на дорогу, чтобы убедиться, что никого нет, потом подвинула его ноги и присела.

Тишина или то, что ночь выдавала за нее: крик совы, лай собак, шум реки, чей-то смех. Небо было огромным, как будто носилки стояли под выпуклым стеклом часов. Самое время спросить мать, верит ли она, что он однажды снова сможет ходить. И будет ли Бредика счастлива. Самое время спросить, не тоскует ли она по его отцу. Но это были не вопросы в обычном смысле слова, не слова и фразы, а лишь их отголоски, направления мыслей, и он их так и не задал. Его представление о матери — даже во тьме, даже если между ними и не состоялся такой разговор — было совершенно отчетливым. Так что этого хватило.

Позднее пришли его дядя и Валеа, чтобы забрать их.

Это они, придя домой, заметили, что двоих не хватало.

Распорядок дня не позволял времени течь без границ. По утрам мать его мыла, вытряхивала постельное белье, проветривала комнату. Приносила ему поджаренный, посыпанный сахаром хлеб, чай из бузины или шиповника. После завтрака приходила женщина, которая ему преподавала, тетя Анюта; хотя, насколько он знал, никакой тетей она не была ни ему, ни кому-либо еще, но настаивала на таком обращении. Тетя

Анюта приносила ему учебники, зачитанные экземпляры, наверное, тридцатилетней давности. Математика и география, а еще румынская грамматика и немецкая литература.

Лев изучал таблицы со странами Земли, ее реками, горами, поясами времени. Узнавал о протяженности железных дорог в отдельных частях света, о твердых и жидких телах, о газах, горючих веществах, скоростях, что-то забывал сразу, но запомнил шкалу Бофорта для измерения силы ветра. Два — легкий. Четыре — шевелятся небольшие ветки. Шесть — слышно в домах. Восемь — качаются деревья. От десяти до двенадцати — ураган. Иногда он себя спрашивал, что сейчас проходят в его классе и удастся ли ему когда-нибудь их догнать.

Два раза в неделю приходила женщина из соседней деревни, знакомая его бабушки, она только и делала, что прикладывала к нему ладони. На его колени, подсовывала под зад, притрагивалась к ключице. Ее прикосновения поначалу были ему неприятны. То, как руки странствовали по его телу, задерживаясь в каком-то месте, пока оно не согревалось, казалось ему слишком интимным. Он закрывал глаза, потому что не хотел знать, смотрит ли она при этом на него, опять же и сам

не хотел смотреть — ни ей в лицо, ни на пушок у нее над губами.

Считается, что люди с веснушками сверхчувствительны, говорила она, и надо найти правильное соотношение нажима и поглаживания, чтобы лечение удалось. Лев, правда, не понимал, какое отношение к нему имеют веснушки, но не возражал.

— Не морщись, — говорила она.

— То есть?

— Я же вижу, как ты кривишься. Расслабься.

Лев расслаблялся. И узнал, что когда ее руки лежат на его ногах, то кожу его головы покалывают мурашки. Как будто все связано со всем.

Потом наступала худшая часть дня, которая раньше была лучшей и начиналась с послеобеденного отдыха. Вторая половина проходила ничем не наполненной, не разделенной на части. Жизнь текла в доме, в саду, на улицах деревни; Лев прислушивался к шагам, к голосам, к тишине. Он заполнял ее своими фантазиями, и время от времени кто-нибудь входил в комнату: мать, бабушка, соседи, изредка Бредика, которая раньше бывала по нескольку раз на дню. Шумы из кухни становились громче, мать приносила поесть и зажигала свечу. Тени становились длин-

ными, его мысли растягивались. Если везло, он мог проспать сразу несколько часов, пока его не разбудят.

Утром он испытывал облегчение, что еще одна ночь миновала, начинался другой день. Еще на одну ночь и день меньше — но меньше от чего? Разве это можно измерить? Неужели он должен потерпеть некоторое время, чтобы потом снова включиться в жизнь? Или если однажды выпал из нее, так и останешься навсегда вне ее, с краю?

Врач не давал никаких обещаний, вообще был немногословен при своих визитах. У Льва складывалось впечатление, что тот сам не знает, чем страдает пациент или как ему помочь. Он держался прямо, входил в комнату размеренным шагом, размахивая своим чемоданчиком, словно готовился к броску, но за несколько сантиметров до стола тормозил и ставил чемоданчик осторожно, почти беззвучно. Так он проделывал свой первый фокус. Второй состоял в том, что доктор всесторонне обследовал Льва, светил ему в глаза, сгибал и выпрямлял колени — только для того, чтобы утвердиться в незнании, что со Львом и как его лечить, но выставить за это счет. Ни за что. За фокус помахать в комнате чемоданчиком.

В начале декабря его навестила учительница,

чтобы проверить, как он справляется со школьным материалом. Когда ей стало ясно, что Лев занимается по учебникам прошлого века (так она выразилась), она решила, что впредь к нему будет кто-нибудь приходить, чтобы давать ему задания.

Этим кем-то будет Като.

Лев заверял, что у тети Анюты есть и другие учебники и что не надо посылать к нему Като. И он думал: нет, нет, только не это. Разве могло быть так, чтобы все становилось только хуже? Разве мало того, что ему приходилось здесь лежать, что Фабиу не приходит к нему, дедушка почти не показывается, а Бредика переселилась к мужу? Так еще он будет вынужден терпеть каждый день эту девочку. С ней никто не дружил. Большинство учителей ее игнорировали, никогда ее не вызывали, только классная руководительница питала к ней необъяснимую симпатию. Лев поговорил со своей матерью, попросил ее забирать принесенное домашнее задание в дверях, а его пощадить.

Впервые с тех пор, как он обезножел и не мог больше ходить, Лиз вскипела.

— Нет уж, это ты меня пощади!

И когда же он успел стать таким зазнайкой, что считал эту девочку недостойной себя?

Уже на следующий день она пришла. Открылись ворота, залаяла собака, но на удивление быстро успокоилась, шаги приблизились, хотя ничего не последовало. Мать пошла к двери, поздоровалась с девочкой, проводила ее в комнату. Лев попытался выглядеть по возможности безучастным. Като все оглядела и остановила взгляд на нем. Они кивнули друг другу. Потом она села на стул, который для нее пододвинули к кровати. Его лицо все выдавало, поэтому он поймал предостерегающий взгляд матери. А что, нельзя было отправить к нему мальчика? Или если уж девочку, то какую-нибудь из первых учениц. Да, если бы пришла отличница, он бы постарался разобраться в задании. Если бы одна из них, он с нетерпением ждал бы встречи. Вместо этого к нему подослали ту, с которой никто не хотел общаться. Ту, которая на переменах всегда что-нибудь рисовала на листках; которая казалась такой отстраненной, что можно было подумать, будто она и говорить-то не умеет. Но всякий раз, когда на уроке ее спрашивали, она знала ответ. Это изумляло Льва. Он считал ее задавакой. Или дурой.

Или той и другой одновременно.

В боковом переулке на окраине деревни стоял

дом, в котором она жила со своим отцом. Забор у них был низкий, колья торчали в земле вкривь и вкось, как расшатанные зубы. За забором был немощеный двор. Дверь деревянного дома в теплые месяцы оставалась открытой нараспашку. Одно окно было разбито и кое-как заделано картонкой и картинкой с изображением Эйфелевой башни. Дикорастущая смородина, крыжовник, малина; ни цветов, ни деревьев, не считая груши. На самой крепкой ее ветке висели качели. Почти каждый раз, когда он проходил мимо, девочка сидела на них. Она закручивала веревки винтом, а потом отпускала их раскручиваться, закрыв глаза.

Закрутить. Раскручиваться.

Иногда он испытывал к ней жалость. Говорили, что ее мать умерла через несколько месяцев после ее рождения. Отец не заботился о том, расчесаны ли у Като волосы (которые никак не могли решить, хотят ли они стать гладкими или волнистыми), умыто ли ее личико, не продырявилась ли одежда. У нее были поразительно светлые глаза и улыбка, которая лишь по краям становилась радостной.

Когда он проходил мимо ее забора, они кивали друг другу. Взгляд, кивок, нарочитая дистанци-

рованность, новое закручивание качелей на грушевом дереве. Он всегда проходил мимо, хотя ему хотелось спрятаться за ближайшим кустом и подсматривать. Неужели она так и будет висеть на этих веревках весь остаток дня?

Лев сидел в кровати, приподняв изголовье. Он наказывал Като наигранным отсутствием интереса, как будто та виновата во всем, но когда она входила в комнату, они кивали друг другу так же, как в переулке через забор. Долго молчали, пока не приходила Лиз с чаем. Мать дотрагивалась до ее плеча, и голова Като клонилась к этому прикосновению.

— Ты что-нибудь принесла для Льва?

Като, еще не проглотив глоток подслащенного чая, протягивала Льву несколько листков.

— Это задания.

Ее язык очень мягко прикасался к зубам.

Лев пролистывал бумаги.

Като правильно истолковывала его взгляд. Она подтягивала стул к кровати и объясняла ему материал. Лев полагал, что от нее будет резко пахнуть. Но ощущал вкус молока и что-то неуловимое, легкое, как бывает в ясное утро.

— Он не старается. Лежит себе в комнате и смотрит на стену. За это ему дают еду — утром, днем и

вечером. Сколько это может продолжаться?

Эти слова произнес старший брат. Они вонзились в грудь, как кинжал. Лев не расслышал, что ответила мать, она говорила слишком тихо. Сколько это может продолжаться? Может, его отвезут в горы и оставят там или засунут под лед Изы? Не почувствует ли он однажды ночью подушку на своем лице? Его брат, хотя и не такой бесшумный, как Бредика, но сильный. Лев сопротивлялся бы, а возможно, и нет, вытянулся бы и остался лежать, принимая темноту, которая уже так долго была его домом. Мать и сестра стали бы по нему тосковать. Дом стал бы по нему тосковать, потому что никто бы его больше не слушал. Като была бы рада избавиться от необходимости каждый день заглядывать к инвалиду, разум которого все равно тормозил.

Он спал теперь еще меньше прежнего, то и дело вскакивал, потому что ему казалось, будто кто-то закрался в комнату, держа наготове подушку. Лев бледнел, худел, он видел это по лицу матери, по отражению в зеркале. Врач сказал, что ему нужен свежий воздух, смена занятий, но двигаться по-прежнему нельзя: шок пережитого еще не прошел; и Лев чуть было не рассмеялся вслух. Стоял январь, неужели следовало выставлять его

кровать в сад? У кого найдется время и желание следить за его занятиями? Врач спросил, могут ли они раздобыть бензин, чтобы ему съездить проконсультироваться с коллегой, который разбирается в нервно обусловленных параличах.

Когда мать принесла еду, Лев попробовал улыбнуться. Она перетрясла его постель, сменила ночной горшок, помыла его быстрыми уверенными движениями, затем он положил ладонь на ее руку. Это было задумано как благодарность, но мать заплакала.

Со временем дни стали едва отличимы от ночи, воспринимались только по их краям. Свет в окне, дуновение воздуха, слова, которых он не понимал, хлеб, какой не жевал, суп, что не мог проглотить. Одна только вода имела отменный вкус. Мать снова уносила нетронутую еду.

Границы его тела начали расплываться; где кончалась его кожа и начиналась кровать? Пространство прогибалось под весом его тела. Он тонул. В темноте исчезало все, что давало опору, показывало ему, где верх и где низ, как его телу находить себя в пространстве. Он лежал на кровати, а может, плыл по реке или проваливался в воду, все глубже.

Като приходила со школьным заданием, но Лев

безучастно лежал, не понимая ничего, ничего не говоря. Като уходила и на следующий день появлялась снова. Не приступая к заданию, сидела у его кровати, рисовала или читала вслух; и хотя он едва мог успевать за ней, ему не хотелось, чтобы она прекращала.

Лев видел сны, которые возвращали ему ноги, позволяли идти, куда он хотел. В прошлое, в будущее, он пускался в любую сторону. Он шел по деревне, здоровался с людьми, какой-то отрезок пути шел с ними. Ты его видел? Кого? Мужчину в круглой шляпе. Он ходит вдоль дороги, стучится в каждый дом. Он носит с собой ягненка, его жилетка окрасилась красным. Никто ему не открывает. Прихвати еще немного облаков, что опустились к холмам. Трава выросла, никто ее не косит, никто не связывает в снопы. За эти былинки цепляется ветер. Лед Изы трещит, ломается, вода выходит из берегов, уносит зиму прочь, смывает его, Льва, куда-то на сушу.

То был брат, мать, в ночи.

Ягненок умер.

Приходил врач. Лев пропустил фокус с чемоданчиком. Только когда доктор светил ему в глаза, Лев его заметил. У того было невыразительное лицо, его рот шевелился. Он велел Льву выпря-

мить руку вверх, но Лев вытянул ее в сторону. Уже какое-то время с ним было так, будто он терялся в пространстве, он часто не знал, где верх и низ, лежал ли он или падал. Лев закрыл глаза, а когда снова открыл, врача и след простыл; в одной чашке горела свеча, а его мать произносила его имя в крещении — Леонард — тремя слогами, как вопрос.

Он улавливал шум леса, впитывал белизну облаков. Беззвучно считал, прячась за деревом: девять, восемь, семь, шесть… Куда все подевались? Рассматривал образы весенних дней, гнезда аистов, цветущие яблони, выпечку (с начинкой из варенья, которое текло по пальцам). Всплывали полузабытые сцены: улыбка, светящиеся руки, серая меховая жилетка, меловые облака на доске, отвернувшееся лицо, смиренное ожидание, вялая, содранная шкура коровы, запах рынка скота, ощущение босых ног, ступивших в коровью лепешку, шелестящее сено. Образы громоздились, переполняя его; никогда больше не вставать, потеряться в воспоминаниях, пройти через все это еще раз, все снова пережить, каждый день по отдельности. Ему было жарко, он боролся с одеялом, сбрасывал его с кровати, его знобило, он звал мать, Бредику. Куда же они все подевались?

Он должен был раздобыть орехи для белок.
Не стоило ему бросать камень.

В доме не осталось никого.

Все, не только его семья, вся деревня собралась у реки с кувшинами, бутылками, ведрами. Священник трижды погрузил в воду крест, поскольку любой водоем был со времен крещения Иисуса в Иордане в эти дни благословен, каждый ручей и Иза. Его бабушка сохраняла святую воду до следующего праздника Крещения рядом с иконой Божьей Матери в своей спальне. Когда телилась корова или кто-нибудь заболевал, она доставала святую воду. Теперь, надо думать, применит ее ко Льву.

Иза покрылась льдом, и они пробивали проруби, чтобы окунуть в воду крест. Люди хотя и замерзли, но никто не выказывал нетерпения, даже если это длилось долго; они будут тут стоять, переминаясь с ноги на ногу, под хоругвями и праздничными иконами, слушать голоса попов, остававшихся на удалении от них.

Мысли Льва в это утро были необычайно ясными, он проспал несколько часов подряд, даже поел немного манной каши, которую ему принесла мать, манной каши с корицей и медом. Он вслушивался в тишину дома, которая сливалась с

тишиной деревни. Никто не оставался в стороне от церемонии водосвятия, ни один из тех, кто еще мог ходить. Но разве не почудился ему шум? Открылась калитка, двери дома, шаги в коридоре — он задержал дыхание; кто же вернулся раньше времени, один из братьев? Собака не залаяла. Дверь комнаты раскрылась от пинка, будто руки у кого-то были заняты. Сердце Льва забилось, он не смог произнести даже «Кто там?», и этот другой, за порогом, тоже не произносил ни слова, а молча ждал, пока раскроется дверь.

Это была Като. В руках она держала полосатую кошку.

У них собрались гости, сказала Като, зашел друг ее покойной матери с тележкой, полной животных. Там была даже гремучая змея. У этого кота впечатляющая родословная; зовут его Халил, что по-арабски значит «добрый друг».

Лев сомневался в родословной: на его взгляд, Халил выглядел как совершенно обыкновенный кот. В деревне таких было много. Некоторым повезло, о них заботились, давали им молоко, пускали зимой на печку. Другим приходилось добывать пропитание самостоятельно, охотясь или ведя полудикую жизнь в лесах. Като настаивала на своей истории. Халил, дескать, благородно-

го происхождения, и она сразу поняла, что он предназначен для Льва (в конце концов, ему не помешал бы друг, разве нет?). Кот повел себя так, будто подтверждал все это. Он высвободился из рук Като и, основательно осмотревшись, прыгнул на кровать. Медленно потерся о ноги Льва, добрался до его груди, обнюхал его шею и уставился на него. Еще никогда Лев не смотрел в глаза кошке в такой близи. Глаза Халила были окаймлены черным, линии тянулись по шерсти к спине. Радужка серо-зеленая с черными крапинами, шкурка коричнево-тигровая, шея белая, лапы тоже, как будто он в сапогах. Во взгляде этого зверя не было улыбки, но не было и страха. Только бездонная серьезность и глубина.

Мать единственная знала про Халила. Кот входил в дом и выходил так, что никто его не замечал. Должно быть, он выжидал на веранде, когда кто-нибудь откроет дверь, тогда и проскальзывал внутрь. Лев никогда не знал о времени возвращения Халила, и, когда тот не появлялся несколько часов кряду, Лев начинал его ждать.

Халил приносил ему прохладу снега, солнце на своей шкуре, когда весна началась с необыкновенно высоких температур. Приносил волнение охоты, усталость, голод, и Лев, несмотря на то

что стал делиться с ним своей едой, сам начал поправляться. Халил не был разборчив, его устраивал и бутерброд, и кукурузная каша.

Лев удивлялся, как бесшумно кот умел двигаться. Он не слышал, как тот входил в комнату, чувствовал только давление его лап, тяжесть его тела на своем собственном. Он с удивлением обнаружил, что это животное никогда не пахло, как будто вообще не имело собственного запаха. Его шкура всегда была чистой, даже лапы. Халил после своих маршрутов входил в комнату, прыгал на кровать, описывал на ногах Льва правильный круг или вытягивался в длину и засыпал.

Льву не надоедало наблюдать за ним в его переменных позах. Поскольку свои ноги он не чувствовал, они не могли у него занеметь. И так они лежали часами, не шевелясь, и Лев охранял сон Халила.

Его разбудили крики. Они были принадлежностью ночи — как лай собак и крик совы. До сих пор они его не касались, но теперь он прислушался, напряженно, словно все в его теле превратилось в уши. Лев позвал мать, и она не заставила себя долго ждать, в ночной рубашке, волосы заплетены в косу, которая доставала у нее до груди.

— Халил, — произнес он.

Его мать, казалось, не поняла.

— Ему надо помочь.

Мать села к нему на кровать. Лицо выражало усталость и терпение.

— Он справится и без нас, — сказала она. — Кошка знает, когда ей стоит сражаться, а когда нет.

Они оба прислушались, но больше ничего не было слышно.

— А ты? — она посмотрела на него.

Лев сделал вид, что не понял, о чем она.

— Ты тоже это знаешь?

Он понятия не имеет, что может, а что нет, сказал Лев.

— Ты мог бы обсудить это со мной.

Лев отвернулся. Он не хотел вспоминать. Тело Лони в бассейне, опрокинутое и расслабленное, как будто она бежала навстречу смерти и лишь в последний момент поняла, кто это был.

Будь он чуть побыстрее, говорил Лев, будь порасторопнее, она, вероятно, была бы еще жива.

Как он мог чувствовать себя виноватым, спрашивала Лиз и называла его, как и раньше, «мой дорогой мальчик». В этом несчастье нет его вины — он хотел помочь, и ему не надо себя уговаривать, что это было неправильно.

Ноги Льва начали вздрагивать. Он не хотел,

чтобы мать это заметила, и попросил ее приоткрыть окно.

— Будет холодно, — возразила Лиз.

— Пожалуйста!

Она принесла ему еще одно одеяло и открыла окно на щелочку. Лев вслушивался в ночь. Поток воздуха остудил ему лицо, раздался звук, словно кто-то скребется, потом щелкнул гофрированный жестяной лист за окном, и вскоре он ощутил привычное давление лап на своем теле. Халил подошел к лицу Льва, прижал к его носу свой, влажный, прохладный, Лев приподнял одеяло, и Халил улегся туда, разместив голову вблизи его шеи. Это было первый раз, когда Лев его погладил.

Только на следующее утро Лев обнаружил, что кошачья морда была расцарапана, а одна лапа окровавлена.

Като приходила к нему каждый день после обеда, они читали тексты по-немецки и по-румынски, зубрили таблицы и уравнения, смысл которых доходил до Льва очень медленно.

В школу пришла логопед, сказала Като, она проверяла, все ли дети выговаривают «р».

— Rică nu știa să zică: rău, rățușca, rămurică.

— Ты выговариваешь? — спросила она.

Лев повторил: rău, răţuşca, răмurică.

Като благосклонно кивнула.

— Когда ты говоришь по-немецки, то «р» у тебя не раскатистое.

Лев сказал: Strasse, Trauben, Radischen.

Като повторила, только Radischen у нее получилось не сразу.

— Мне бы хотелось, чтобы мы научились чему-то разумному, — сказал Лев.

Взгляд Като стал участливым, но она промолчала. Почему именно этой девочке достался такой ясный ум, Лев не мог объяснить. Она и сама стала бы хорошей учительницей. Когда он ей это сказал, она отрицательно помотала головой, и Лев со стыдом вспомнил о переменах, которые она всегда проводила одна. То, что никто к ней не подходил, даже большинство учителей ее игнорировали, казалось ему правильным, само собой разумеющимся. И кто бы с таким опытом добровольно вернулся в школу? Или здесь что-то другое?

Лев протянул Като коробочку, которая лежала наготове на его ночном столике. Она открыла крышку, некоторое время смотрела внутрь, а потом приколола себе на пуловер mărţişor, краснобелый бантик мартеницы. Она ничего не

сказала. Однако, когда прощалась, поцеловала его.

Однажды утром Лев проснулся от хлесткого звука бича. По деревне шел пастух и собирал стадо. Льва волновали эти знакомые звуки, а Халил, наоборот, их не любил. Он уставился в ту сторону, откуда они исходили, и не успел Лев его успокоить, как кот исчез. Вероятно, выскользнул через дверь, когда Дорин выходил наружу, чтобы выпустить из хлева корову.

Лев радовался завтраку, весне, новому дню. А больше всего радовался приходу Като. Он давно понял, что эти посещения не были для нее обузой. Она с улыбкой входила в комнату, где он ждал ее, умытый и причесанный, иногда с Халилом, иногда без того; с Халилом она обращалась с тем вежливо-безучастным образом, который нравился коту больше всего. Лев любил ее голос и улыбку и вел себя так, чтобы рассмешить Като. Это удавалось почти всегда, и однажды она у него спросила — после того как они вместе над чем-то отсмеялись: почему он не может больше ходить?

Лев рассказал ей про тот несчастный случай. Это неожиданно далось ему почти легко. Что он тогда почувствовал себя точно заколдованный, как будто никогда не мог избавиться от увиден-

ного.

Като сказала, что животные иногда притворяются мертвыми, пока опасность не минует.

Об этом он никогда не думал. С некоторого времени в его ногах появились судороги, особенно ночью ноги неконтролируемо дергались. Несколько раз он уже чувствовал холод или дрожь, но матери ничего не рассказал, чтобы не пробуждать в ней лишние надежды. Он беспрерывно вспоминал пережитое, пытался найти выход — ссору Лони и Силаса, как он потерял ее из виду, снова нашел, и мужчина приказал ему оставаться на месте — там, где он был.

— Опасность миновала, — сказала Като утвердительным тоном.

Он хотел возразить, но она стерла его слова с губ.

— А твой отец не возражает, когда ночью тебя нет дома?

Като отрицательно помотала головой.

Зажглись звезды, одна за другой, будто кто-то тайно управлял светом. Ничего, за звездами нет ничего, сказал однажды сосед; Льва испугало это убежденное «ничего». Да неужели же за звездами ничего нет? Сосед ответил, что случаются события, которые уничтожают всякую веру, только он

еще слишком юн, чтобы это понять.

Почему взрослые всегда думают, что ты слишком юн, чтобы понять, а потом все-таки говорят это? И если ты хочешь узнать больше, не узнаешь ничего.

Като рассказала, что часто уходит, когда ее отец со своей пасекой перебирается с места на место. Летом она спит в саду, а иногда в какой-нибудь горной хижине.

— И ты не боишься оставаться одна в горах?

— Я родилась в субботу, — ответила Като, будто это могло служить объяснением. И добавила: — Дети, которые родились в субботу, считай родились в рубашке. Так говорила моя мама.

Он не спросил, откуда ей это известно.

Като лежала рядом с ним как доска. Он старался ужаться, и она тоже, вдвоем им было тесно, к тому же одеяло укрывало его только наполовину. Большую часть стянула она. Но так лежать оказалось намного приятнее, чем он себе представлял. Он попросил, чтобы те носилки, на которых его вывозили на свадьбу, поставили в саду. Конечно, ему сперва отказали, но он не сдавался, пока Дорин и его мать однажды в теплый вечер не выкатили эти носилки на полянку между курятником и овощными грядками. Позади курятника

тянулись луга, за лугами начинались холмы, потом горы — всегда что-нибудь располагалось дальше.

Като была укутана в шарф, который для нее связала Лиз. Волосы были собраны и заколоты сверху; глаза в темноте напоминали бархатные крылья. Халил вскочил на носилки, втиснулся между их ног.

— Теперь мы и пошевелиться не сможем, — сказал Лев.

— А кому надо шевелиться?

Ему снилось, что он на реке. По краям она еще покрыта льдом, тонкой корочкой, под которой пульсировала вода. Утки, лебеди и бесчисленные птицы гнездились по берегам. Они не шевелились, точно спали. Тишина этой сцены была чем-то большим, чем простым отсутствием звуков; это великое вслушивание, ожидание. Река прислушивалась к чему-то, так же как растения и звери. Это вслушивание пронизывало Льва, проникало сквозь грудь, сквозь живот и ноги, длилось едва ли дольше чем несколько вдохов, потом оно оказывалось позади него, уходило. Утки поднимали головы из оперения, птицы вспархивали вверх.

Лев почувствовал, как Халил спрыгнул с но-

силок.

Он увидел тень, узнал своего брата.

— Чего тебе здесь надо?

В ответ только смех.

Он стащил Като с носилок.

Надо бы проверить, девочка ли она еще, сказал Валеа, явно пьяный.

Она умела постоять за себя, именно это и испугало Льва. Его беспомощность обернулась в нем яростью, и он осыпал своего брата самыми страшными проклятиями. Ноги его скользнули с носилок, они были как две тонкие ветки, которым приходилось нести на себе несоразмерную тяжесть. Лев дрожал, держался обеими руками, чтобы не упасть. Но он чувствовал под ступнями траву, прохладную, твердую землю.

Ему больше ничего не пришлось делать. Ничего не надо было говорить.

Те двое расцепились и уставились на него.

Два

מְנֵא מְנֵא תְּקֵל וּפַרְסִין[10]

Машина внезапно остановилась. Через открытую дверцу ворвался ветер, сдул бумаги с заднего сиденья, погладил лицо Льва, который на мгновение закрыл глаза. От долгой поездки на автомобиле ему становилось плохо. К этому еще добавлялись здешние пространства, прямые как стрела дороги, мачты линии электропередачи над пашней, громадное серое небо без облаков, без холмов, без гор.

Ферри, который поначалу огляделся, скрылся в поле и чуть позже вернулся с диском подсолнуха в руках. Он сунул его в руки Льву, завел машину и поехал дальше. Лев держал этот подсолнечный круг, точно брошенный ему в руки мяч, пока дед, смеясь, не подсказал, что семечки можно «лузгать». Это требовало определенной ловкости — отделять зерна от плевел; Лев «лузгал», опустил стекло и выплевывал шелуху на ветер. Какую-то часть их задувало обратно в машину,

---

[10] Примечания: 10
Мене, мене, текел, упарсин. (*Из Книги пророка Даниила.*)

он незаметно сгребал их в кучку на коврике.

Ферри регулярно протягивал к нему раскрытую ладонь, и Лев всыпал на нее порцию зерен. Ферри разгрызал их быстро, привычным жестом, выплевывал шелуху за окно, ветер трепал его волосы, которые у него всегда были несколько длиннее, чем у других мужчин. Лев решил продвигаться по подсолнечному диску по спирали, снаружи внутрь — сперва съесть внешний круг, потом следующий, продвигаясь к середине все быстрее; круг семечек становился все меньше. Лев уже забыл про свою дурноту, перестал думать об отсутствующих холмах и горах, и не успели они добраться до средоточия подсолнечного круга, как достигли цели — города Бузиаш.

Дед не следил, поспевает ли за ним Лев. Все остальные люди фланировали, прогуливались по дорожкам, сидели на скамейках; Ферри и Лев, с поклажей, отметившись на входе и получив ключ от комнаты, пересекли парк, миновали колоннаду, фойе, поднялись по лестнице и добрались до своей комнаты.

Ферри проверил ванную, состояние кроватей, заглянул в шкаф, провел пальцем по подоконнику, включил и выключил свет, подвинул занавески, вышел на балкон, поправил там мебель и,

после того как вроде бы все, к его удовольствию, оказалось исправным, начал распаковывать вещи. Лев сделал то же самое. Нижние полки шкафа достались ему, а также нижние выдвижные ящики комода и кровать у окна. Когда все было разобрано, одежда размещена в шкафу, книги на ночном столике, письменные принадлежности на письменном столе, пакет с туалетными принадлежностями в ванной, Ферри переоделся. Лев тоже переоделся — проще делать то же самое, что и дед, не задавая лишних вопросов.

В своей свежей рубашке, с причесанными волосами и умытым лицом Ферри, казалось, преобразился. Его движения стали степеннее, дыхание спокойнее, глубокая поперечная морщинка на переносице исчезла. Он сел на край кровати и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Лев тоже сел на кровать и подышал.

Потом он услышал, как Ферри хлопнул в ладоши.

— Ну всё, — произнес он, — вот мы и здесь!

Быть здесь означало ощущать на теле белье, которое ему дала с собой мать; вдыхать запах хлорки в ванной без окон, слышать приглушенные голоса из примыкающих комнат, шаги сверху в тонких, чистых тапочках; означало солнце в

ветках деревьев перед балконом, чувствовать тонкую ткань постельного белья и давление в животе: наверное, переел семечек; означало беспокойные мысли, потому что впереди у него дни без расписания; означало следовать за дедом в двояком смысле, идти, куда и он, делать, что скажет; означало быть среди людей, которых он не знал, язык которых не всегда понимал, — теперь он здесь, на курорте, на неделю. И хотя был рад возможности сопровождать деда, не понимал, в чем тут радость.

Быть здесь означало также быть где-то далеко.

Солнце зашло, но небо оставалось неподдельно голубым.

По дороге к главному корпусу Ферри рассказывал, что две сотни платанов родом из Италии, а крытая прогулочная тропа тянется на полкилометра. Так что можно фланировать на воздухе даже в дождь. Это, мол, была идея императора Франца Иосифа Первого Австрийского, когда он, вместе с кронпринцем Францем Фердинандом и императрицей Елизаветой был здесь в конце девятнадцатого века.

Мимо них, тихо поздоровавшись, прошел мужчина. Ферри шепнул Льву, чтобы он не удивлялся, если некоторые отдыхающие покажутся ему сдер-

жанными, а то и невежливыми. Большинство, по причине своих недугов, ведут замкнутую жизнь. Никогда нельзя заводить с отдыхающими речь об их болезнях. Абсолютно запрещено говорить человеку, что сегодня он плохо выглядит.

У входа в столовую Ферри остановил его:

— Подождем, пока нас разместят.

И вскоре подошел администратор, уточнил их имена, изучил путевки и провел на место. Когда они пересекали просторный обеденный зал и лавировали между столами, Ферри продолжал свои наставления: очень важно, что будет за стол, чуть ли не самое главное, потому что общество за столом определяет, как пройдет твое пребывание здесь. Ведь ты трижды в день встречаешься с людьми за едой, а опыт показывает, что застольные знакомства держатся и за пределами столовой. Соседи по столу заговаривают с тобой и на прогулке, и на гимнастике, в раздевалке, в ванной, да даже когда с закрытыми глазами лежишь в чане, тебя не оставят в покое. Надо с этими людьми сохранять любезные отношения, потому что, только когда отдыхающий уезжает, выпадает единственный шанс на смену компании. Уж он-то все повидал, всякие компании. Редко получаешь лучшее. Если тебе попадутся

люди, которые целый вечер твердят о своих недугах, то помогай им Бог. Или если попадаются пары, особенно свежевлюбленные. Нет, самое паршивое — давно разлюбившие. Ему хотелось бы видеть интересных соседей, например ученую или художника. Хороши бывают пенсионеры, с которыми можно сыграть в шахматы. Есть ли у Льва какие-то определенные предпочтения?

Лев чувствовал растерянность. Не успел он что-то ответить, как они уже сидели за столом. Шестеро человек подняли головы и с интересом посмотрели на них.

Никто не спросил о его болезнях. Лев счел это хорошим знаком для их пребывания. Некоторые были знакомы друг с другом. Одна пара из Темишоары по фамилии Раду уже провела здесь несколько вечеров за столом с двумя сестрами из Кронштадта. Еще прибывший только сегодня молодой мужчина отстраненного вида (вдруг художник) и пожилая дама, повесившая свои костыли на спинку стула.

Лев огляделся. Не заметно ни одного подростка его лет. Между столами сновали официанты, услужливые, но не особо дружелюбные. Лампы горели слишком ярко, высвечивая каждый уголок зала. Курортники беседовали, но некоторые,

как и он, с любопытством озирались. Дедушка свел знакомство с одной из сестер, сидевшей слева от него, подлил ей в стакан (что делал потом весь вечер, не спрашивая), а потом затеял через стол светский разговор с господином Раду. Причем «светский разговор» — неточное выражение, это больше напоминало допрос. Какой тут была погода в последние дни? Как вы оцениваете качество целебных ванн в этом сезоне? Годятся ли новые устройства для розлива? Работает ли еще здесь терапевтом та самая? Вымощены ли новые дорожки для прогулок? Показывают ли здесь кино?

После супа Ферри приступил к докладу о гальванических ваннах. Они, дескать, смягчают боли и снижают ревматические воспаления, способствуют кровообращению и тем самым выводу токсинов от обмена веществ. Правда, силу тока, проходящего через тело, следует определять очень осторожно; он не хотел бы сейчас, в присутствии дам, рассказывать, что ему пришлось пережить. В этом месте сестры переглянулись, а господин Раду воспользовался паузой, чтобы обратиться к своей жене. Но Ферри не дал сбить себя с мысли и еще некоторое время разглагольствовал, не заботясь о том, что слушают его

только Лев и дама с костылями, и закончил он утверждением, что гальванические ванны, наряду с лечебным массажем, лучшее из всего того, что может предложить это заведение.

Глухой удар. Толчок, сотрясший все его тело. Машину вынесло с дороги, и она, не снижая скорости, ринулась в поле. Салон машины затенился, темные солнца скользнули по стеклам, жесткие стебли ломались, барабанили по обшивке, замедляли ход. Лев, ехавший на пассажирском сиденье рядом с дедом, обернулся, сзади сидели три смеющиеся женщины. Он заткнул себе уши.

За полем находился поселок. Он располагался на крутом утесе, каменно-серые стены, яркие ставни, расписанные орнаментами. Уже смеркалось.

— Давай быстрей! — крикнул Ферри и погнал его с багажом вверх по улице. Лев оглянулся, но женщин не увидел. Они остановились около какого-то дома, дверь открылась сама, но его на пороге как будто что-то удерживало.

Вечерами все ставни, выходившие в сторону озера, полагалось закрывать, это, мол, единственное, за чем он должен следить, сказал дед. Понятно ли ему? И словно по команде — точно одна костяшка домино привела к падению все

остальные — ставни закрылись во всех домах по очереди. Лев высунулся наружу, увидел волну закрывающихся ставней и встроил в этот ряд и свое окно. В доме стало темно, Ферри искал выключатель, потом разразились крики.

Кто-то втолкнул Льва в деревянное корыто. Электроды опустились в воду, по его коже побежали мурашки, в глазах возникла вспышка, кто-то приказал: «Спокойно, скоро закончится». На его теле уже образовалась тонкая медная корочка, словно вторая, прилипшая кожа, покрывшая его полностью. Его подняли из воды, он прочно стоял на полу, затвердевший, тяжелый, ему приходилось напрягаться, чтобы согнуть ноги или повернуть голову. Он поднял ладони, насчитал десять медных пальцев, глянул на себя сверху вниз — он блестел, как зеркальное оконное стекло.

Утром Льву потребовалось некоторое время, чтобы стянуть с себя медную кожу из своего сна. Он то и дело проверял свои ладони. В ярком свете ванной ему на какой-то момент почудилась вспышка.

У Ферри была привычка по утрам петь. Он пел, когда мылся, пел, когда одевался, пел, когда закрывал за собой дверь. Первое из сказанного им

на пути к главному корпусу было то, что после завтрака он записан на прием к главному врачу.

— И я тоже? — спросил Лев.

— Ну разумеется.

Все вновь собрались за столом. Супружеская пара Раду, Силас (Лев и Ферри между собой называли его «художником») и дама с костылями. Сестры из Кронштадта явились последними. Обеим по двадцать с небольшим, их родство говорило о себе само. У старшей, с серьезным лицом, короткая стрижка, младшая чуть поменьше ростом, с длинными волосами, и она улыбнулась ему, когда сестры усаживались за стол. Никто не перекрестился перед едой. Никто не прочитал молитву. Все приступали к еде, когда хотели, и заканчивали, когда хотели, а главное, ели то, что хотели. Лев ограничился в это первое утро хлебом, намазав его медом. Запивал молоком, водянистым на вкус.

Разговор вращался вокруг визита новоприбывших к главному врачу. Господин Раду авторитетно заверил, что врач очень молодой и что его надо поддерживать. Он советовал новичкам заранее продумать, какие лечебные меры им необходимы. Главный врач, мол, практикует экономный курс, получаешь не больше, чем раньше; само

собой разумеется, самое лучшее. Ему, сказал господин Раду, удалось вытребовать для себя и для жены массажи, магнитотерапию, а также травяные ванны. Только его добавление «ежедневно» произвело на слушателей должное впечатление. Господин Раду, кажется, не собирался больше отдавать деду все время, отведенное на разговоры.

Ферри несколько раз пытался перепахать просеку беседы, установившейся за столом. Он попробовал сделать это с темой погоды, потом с недостаточной освещенностью в коридорах, но так и не прорвался на авансцену. Раду завладел всем временем завтрака.

Кого все это вообще не интересовало, так это «художника». У него был такой вид, будто он плохо спал. А может, и его гальванизировали.

Что выражало лицо главного врача, которое заметил Лев? Удивление? Усмешку? Скуку? А еще эта улыбка, заученный, привычный жест, нечто среднее между «входите» и «убирайтесь». Он предстал весь в белом. Белые брюки, белый верх, белый халат. Лев еще никогда не бывал у врача. У него колотилось сердце, он не знал, куда себя девать. Помещение, если не считать растение, безотлагательно требующее полива, не имело ничего лишнего; на письменном столе

рядом с журналами и книгами стояла пишущая машинка. На стене висел портрет Чаушеску.

— Давай садись, — сказал врач, и Лев присел на кушетку. Его голые ноги тотчас прилипли к ней. Без дальнейших вопросов врач начал осматривать Льва. Заглядывал ему в уши, прослушивал сердце, смотрел горло, светил в глаза. Еще никто ни разу не заглядывал Льву ни в уши, ни в горло, ни еще куда-либо. Он пытался прочитать имя, вышитое на халате, но буквы не складывались. Покорно закрывал глаза, поднимал руку, поворачивал голову, задирал майку.

— Так больно? — спрашивал врач, нажимая на разные места живота.

Лев отрицательно мотал головой, хотя, конечно, было больно.

— А так?

Лев отвечал решительным «нет».

Поскольку на какое-то время стало тихо, он решил, что обследование закончено. Чаушеску выглядел добрым, отеческим, волосы его блестели, черный костюм контрастировал с сине-желто-красным флагом. Только Лев никогда не мог опознать возносящийся в небо каркас на левой стороне плаката. Его брат Валеа говорил, что эта конструкция изображает прогресс. Неужели

прогресс — это строительные леса?

Когда он встал, кушетка издала чавкающий звук. Врач что-то написал на бумажке. Кивком дал понять пациенту, что тот свободен. Лев быстро схватил бумажку и поэтому протянул ее секретарше смятой. Секретарша перенесла содержимое на голубой плотный почти квадратный лист бумаги, сложенный книжечкой.

Ветер был сильный. Цветы склоняли голову почти до земли. Как будто и ветер спрашивал: «А так больно?»

По краям дорожек росли кусты, их отдельные ветки торчали как щупальца. Лев сел на скамейку, положил рядом непрочитанный план лечения, придавил его камнем. Он не уставал удивляться платанам. Как бы они почувствовали себя рядом с елями и пихтами Марамуреша? И что они видели изо дня в день? Гуляющих, бедных, усталых людей.

Кто-то присел рядышком, и, лишь присмотревшись, он понял, что это одна из кронштадтских сестер. У нее были голубые глаза, точнее, голубоватые, к ним примешивалось еще что-то, чего Лев не смог бы назвать. Нос тонкий, немного даже кривоватый, но это ее не портило. В вырезе платья блестела золотая цепочка. Во время

общих обедов она была лишь одной из многих людей, которые попадали в поле его зрения. Теперь она сидела рядом, и явление ее красоты поразило его.

— Меня зовут Хелене, но все называют меня просто Лоня.

— А я Леонард, но все говорят просто Лев.

— Как зверь лев, да?

— Да.

Она спросила, можно ли заглянуть в его план лечения, пробежала строчки глазами и снова положила книжечку под камень.

Он вдруг ощутил ее ладонь на своей ноге.

— Посмотри!

По лужайке бежали две белочки — быстрыми, невесомыми прыжками. Оглядевшись, они взобрались на дерево и скрылись в листве. Лев не знал, что его взволновало — то ли вид зверьков, то ли нежное прикосновение к его бедру.

— Приходи сюда на закате, — сказала Лоня. — Тогда их здесь будет много, полный луг.

Ее брови были как две тоненькие дуги. Кожа лица светлая, почти прозрачная. Лев неожиданно обнаружил, что они вполне естественно разговаривали по-немецки.

Потом она встала.

— Лоня! — окликнул Лев.

Она обернулась.

— А гальванические ванны в моем списке значатся?

Дед изучал планы лечения, сидя на балконе. Ферри всегда брал комнату с балконом, потому что после еды курил. Он использовал мундштук, потому что так, дескать, менее вредно, а его портсигар имел встроенный часовой механизм, который выдавал ему сигарету только раз в четыре часа.

Если смотреть с балкона, дорожки, скамьи и платаны напоминали рисунок, нанесенный нежнейшими штрихами. Люди, казалось, не двигались, словно привинченные к своим местам, и Лев невольно думал о девочке из своего класса, которая на каждой перемене рисовала. Однажды он тайком подкрался к ней, и, хотя она его явно заметила, притворилась, что не видит его у себя за спиной. Она делала набросок дерева с мельчайшими ветками. Лев не очень разбирался в искусстве, но рисунок был чудесный. Он ничего ей не сказал. Как ничего не говорил, когда проходил мимо ее дома и видел ее на качелях в ветвях грушевого дерева. Если же она отсутствовала в саду, он пытался вернуться назад, подождать.

Без этой девочки чего-то не хватало.

Ферри зажег спичку, кожа в его горсти мерцала розовым отблеском.

Прогулки, травяные ванны и рекомендации по питью целебной воды — так выглядел курс его лечения. Это было не так страшно. Звучало невинно, хотя он толком не понимал, почему ему вообще нужно лечиться, он ведь не болел. Необязательно быть больным, чтобы лечиться, сказал Ферри. Лечатся, чтобы не захворать, а это лучше всего делать здесь. Его собственный курс выглядел куда объемнее. Будут ли они вообще видеться, кроме как в столовой?

Ферри вытянул ноги, принял расслабленное положение. Так он делал, только когда курил, в остальное время сидел безупречно прямо.

— Вот я удивляюсь, что здесь делают супруги Раду.

Лев пожал плечами, хотя никто и не ждал от него ответа.

— Ставлю на психический недуг жены. Насчет мужа не уверен. Возможно, что-нибудь с пищеводом.

Ферри сделал затяжку, сполз в кресле еще ниже.

— А у той дамы с костылями, как бишь ее

зовут, Розина кажется, дело ясное. Детская инвалидность и естественно следующее из этого нарушение опорно-двигательного аппарата. У нашего художника — тут дело посложнее. Заболевание дыхательных путей или сердце. Да, вероятно, сердце.

— Ты хочешь сказать, у него слабое сердце?

— Я хочу сказать, у него любовная тоска, — сказал Ферри.

— А сестры?

— Насчет старшей не знаю, а у младшей, судя по всему, астенический невроз.

Лев попытался сделать вид, что понял.

К обеду небо потемнело за несколько минут. Начался дождь. Благодаря императору Францу Иосифу они могли проделать часть пути под колоннадой. Платаны шумели, мимо спешили мужчины с зонтиками, женщины в шуршащих накидках от дождя. В «Гранд-отель» они явились запыхавшись, потому что последнюю часть пути, открытую, им пришлось бежать.

В ярко освещенном зале столовой Лоня выглядела такой одинокой, что у Льва невольно возникло желание сесть рядом с ней. Но порядок рассадки оставался неизменным, разве что кто уезжал или поступал новичок. Они улыбнулись

друг другу через стол. Ферри заметил этот знак доверия, вопросительно поднял брови, но Лев направил все свое внимание на расстановку тарелок, раскладку приборов и салфеток.

Наконец все застольное общество было укомплектовано, подали суп, и Лоня беседовала со своей сестрой, лишь время от времени бросая взгляд на Силаса, который, как и Лев, тайком поглядывал на нее. Лев хотел ей что-то сказать, но из осторожности промолчал весь обед.

Дождь усилился, деревья за окнами качались. Кусты прижимались ветками к стеклам окон, как будто просились внутрь. Раздался сильный хлопок, и лампы погасли. По столовой пронесся шепот, кто-то вскрикнул.

Постепенно обеденный зал начал освещаться принесенными свечами, образовалось обширное пространство, которое по краям терялось в темноте. Темный пуловер проглатывал туловище Лони, виднелись только лицо и руки.

— С неба звучит опечаленный грохот. / Вот и ресницы взметнулись, грозя. / Так сверкают глаза перед плачем, — / И из-под век мелькнет слабый луч. / Но вот из болот холодный морок крадется, / Тихий туман застилает всю пустошь. / Небо, ослабнув от скорби, / Из рук обессиленных

солнце роняет.

Художник прочитал стихотворение по-немецки, ввинтив его в тишину. Светящиеся руки Лони неподвижно лежали на столе, глаза были закрыты. Потом она повернулась к Силасу. Взгляд ее был беззащитно открытый.

Господин Раду потребовал перевода на государственный язык.

Это же стихотворение Ленау, сказал Ферри, его не так просто перевести.

А что тут трудного, спросил господин Раду, в конце концов, Ленау румынский поэт.

— Отнюдь нет, — возразил Ферри. — Ленау писал по-немецки, так что он немецкий поэт.

Повернувшись к сестрам, он добавил: чего стоит одно сочетание «опечаленный грохот», попробуй переведи.

Господин Раду сказал еще что-то о переименованиях и о родине Ленау, но потом отказался от дальнейших возражений — возможно, по причине усмиряющего жеста своей жены.

— Когда Ленау родился, Банат вообще принадлежал Венгрии и был частью монархии Габсбургов. Ленау не немецкий и не румынский поэт, а австрийский, — сказал Силас.

Послеобеденный сон.

Послеобеденный сон означал, что приходишь с улицы, бросив то, что делал, даже если предстоял решающий раунд — в футболе, в игре в шары. Льву приходилось раздеваться до трусов и ложиться в постель, с закрытыми ставнями, через которые в комнату проникало так мало света, что даже мебель едва можно было различить.

Ритуал придумал Ферри. После обеда надо отдыхать, неважно, один ты или у тебя гости. Засыпаешь лишь в редких случаях, все предаются своим мыслям, а иногда делают вид, что спят, или взаправду спят — почем знать.

Это был украденный час; постучавший в дверь получал от ворот поворот, а необходимые дела откладывались на потом. Притворяешься, будто у дня есть перерыв: третий промежуток наряду с самими днем и ночью, и в эту паузу вступаешь сообща со всеми. Мать Льва иногда раздевалась до нижней юбки и ложилась рядом с ним. Бредика и Дорин раньше тоже участвовали в послеобеденном сне, а то, что с Валеа он не находил общего языка, возможно, объяснялось именно тем, что они никогда не проводили вместе этот час, а потом становишься, пожалуй, слишком взрослым. Ферри придерживался распорядка послеобеденного сна со своей дочерью только в

первые годы ее жизни, потом он был слишком занят работой со стеклами часов, а затем она совсем выросла, чтобы он укладывал ее рядом с собой. Но Лиз лишь к концу школьных лет перестала укладываться со своими подругами под одеяло, и, когда приходил ее отец, чтобы разбудить их, они ему рассказывали то, чего иначе, может быть, никогда бы не сказали.

Лев размышлял о том, кем же он был. Если Ленау было так тяжело, каково же ему?

Шорох выдал, что дед уже проснулся («подремать» — так он называл этот сон, который прикидывался послеобеденным), и Лев спросил у него, кем ему считать себя.

С другой кровати послышалось несколько глубоких вдохов и выдохов. При саксонско-трансильванской матери, румынском отце и австрийском дедушке все не так просто. Почему дед был австриец, Лев никогда не понимал.

— Мой отец родом из Вены, мать из Шессбурга. Разве я тебе об этом не рассказывал?

Лев помотал головой, чего Ферри, разумеется, не мог видеть.

Прошло несколько минут, потом Ферри сел на кровати и сказал: раз дело такое запутанное, как у них в семье, то он выступает за то, чтобы

разобраться в этом как следует.

Они сидели на кроватях друг против друга. Лев болтал ногами, а ноги деда доставали до пола.

Национальная принадлежность, сказал Ферри, действительно не может быть ничем иным, как личным решением.

Вода текла из ржавого крана в ванну. Она не лилась, а журчала. Когда ванна наполовину наполнилась, Льву велено было в нее влезать. В сумеречном свете помещения, выложенного кафельной плиткой, стояли несколько дюжин ванн, но только в трех из них купались. Одна женщина в голубом халате присматривала за ними. Она проверяла уровень и температуру воды, помогала, если надо, зайти в ванну или выбраться из нее. Почти ничего не говорила, объяснялась жестами, взглядами. Вероятно, она перевидала сотни людей, входящих в ванны и произносящих одни и те же фразы. На ее именной табличке значилось «Ирина», а фамилия была сокращена до одной заглавной буквы.

Лев ступил в ванну, помедлил, потому что вода показалась ему слишком горячей, но он знал эту игру от своей матери, которая всегда утверждала, что не слишком горячо. Что здесь сложного? Если садившийся в ванну говорил, что слишком

горячо, значит, так оно и было. Чего не мог знать остававшийся вне ванны. Значит, вода слишком горячая, но Лев все-таки сел, его купальные трусы надулись пузырем, он попытался это пресечь и уже чувствовал мурашки, которые побежали по всему телу, где-то посередине между болью и удовольствием. И застонал.

Ирина, наверное, смогла правильно истолковать звук и сделала воду холоднее, Лев благодарно улыбнулся ей. Значит, здесь бывает иначе, чем дома.

Только когда он погрузился до подбородка, кран закрыли. Бормотание из других ванн Ирина пресекала шипящим звуком. Она вылила в ванну Льва содержимое специальной кружки, распространился аромат лаванды, розмарина и чего-то еще. Лев погрузился на дно. Так, должно быть, чувствовала себя капля, которая растворялась в реке Изе.

Это телесное ощущение было новым. Его руки не заканчивались там, где были кончики пальцев, они переходили в воздух. Его подошвы различали каждую кафельную плитку, каждую трещинку. Его ноги чувствовали себя так, будто больше никогда не устанут. Но все же он чувствовал усталость.

В раздевалке Лев подошел к зеркалу и нашел свое лицо красивым. Никогда раньше он так не думал. Он поворачивал голову из стороны в сторону. Его кожа была светлой, веснушчатой, хоть зимой, хоть летом. Волосы прилипли к голове, он протер их полотенцем и засмеялся, потому что они торчали во все стороны. Он выжал свои плавки, повесил их на штангу. Что-то снова привлекло его к зеркалу. Ощупал свои щеки и губы, представил себе, что это чужие руки, потом провел скользящим движением по груди и вниз, между ног. Его член встал. Он тотчас убрал руку, огляделся. Голоса? Нет, кроме капель с его плавок, все было тихо. Он взял одежду и полотенце, прижал все это к себе и пошел в одну из кабинок.

Растворение границ его тела уже не покидало его. С этим чувством он отправился к себе в комнату, лег на кровать и читал, потом пошел в столовую, где улыбался и ничего не говорил; с этим чувством он встретил вопросительно-осведомленный взгляд Ферри; с этим чувством сидел вечером на скамейке и ждал белочек. Они прибегали одна за другой, пока вся лужайка не заполнилась ими; рыжевато-коричневые, со светлым брюшком и пышным хвостом, без страха перед курортниками. Все было в движении,

как будто земля шевелилась, как будто деревья протягивали ветки вниз, чтобы белочки могли взбираться и спускаться, неустанно, гонимые необъяснимой спешкой, может быть, радостью.

К нему подошла Лоня, дала ему орехов. Они присели на лужайке на корточки. К ним подбегали белочки, Лев не успевал совать руку в пакет, у него закружилась голова, ее колено рядом с его, они сидят бок о бок. Когда их пакеты опустели, Лоня обняла его, прижала к себе. Он приник лицом к ее шее, вдохнул запах мыла и пота, ощутил ее ключицу. Так вот что это было — должно быть, то самое, о чем все говорили.

Дед не спрашивал, откуда он пришел. Он лежал в кровати и читал, при этом вздыхал, переворачивая страницу, как будто книга ему очень нравилась или совсем не нравилась.

Свет лампы на ночном столике косо падал на его лицо, руки и книгу. Ферри, вообще-то, читал только тонкие книги, толстые не любил. На тех, кто много болтал, он не хотел тратить свое время. Эта же книга была необыкновенно толстой для читательских привычек его деда.

Лев разделся, аккуратно сложил одежду, надел пижаму, умылся, почистил зубы, сходил в туалет — он присутствовал здесь и все-таки пребывал

где-то далеко. В кровати он еще раз продумал свой план. Завтра снова примет травяную ванну и снова увидится с Лоней.

Почему белочки прибегали на закате солнца?

Почему кожа Лони была такой мягкой?

И откуда у нее эти пакеты с орехами?

Господин Раду появился к завтраку без своей жены. Он боялся, что она простудилась. Ферри напомнил, что после процедур надо как следует одеваться. И соблюдать постельный режим — важно; мол, лежать — главное в жизни, важнейшее.

Его жена это знает, возразил господин Раду, дело не в лежании, причина в температуре воды. Здесь, похоже, в последнее время на всем экономят, даже на этом. Лев удивился, он находил воду чудесно теплой, даже горячей, его согревала сама мысль, что сегодня после обеда ему снова можно будет искупаться. Он энергично намазал свой хлеб медом. Лоня бросила на него через стол заговорщицкую улыбку. Увидит ли он ее сегодня вечером? На том же месте, в тот же час? Достанешь ли ты орехи на сей раз? Он не добрался до следующих мыслей, потому что Лоня уже повернулась к художнику.

Без успокоительного присутствия своей же-

ны господин Раду, казалось, был гораздо менее расположен к тому, чтобы уступать ведение застольного разговора деду. Несколько раз оба заговаривали одновременно; что бы ни сказал один, другой ему возражал. Звали ту массажистку Анна или Анка? Ее, без сомнения, зовут Анна, так она аккуратно и нежно массирует, замечал господин Раду. Следовало ли после ванны вытираться полотенцем или оборачиваться в него? Непременно вытираться основательно, может, из-за этого его супруга и простудилась, сказал Ферри. Пожилая дама рядом с Силасом сделала одно неловкое движение, и ее костыли упали на пол. Господин Раду встал, снова повесил их на спинку стула. Этой паузой она воспользовалась, чтобы обратиться к Ферри, и спросила его о его профессии мастера часовых стекол, на что тот ответил вполне безобидно.

На обратном пути в комнату Ферри попытался сподвигнуть свой портсигар к выдаче сигареты, но заданная механизму пауза еще не истекла. Он с проклятием сунул портсигар в карман. Лев удивлялся своему деду. Собственно, нет причин для разлада с господином Раду. Оба здесь были завсегдатаями, беспокоились о качестве еды, о процедурах, об условиях размещения. Вероятно,

причина заключалась в чем-то ином.

Лев чувствовал себя уже опытным курортником, когда во второй половине дня лежал в ванне. Он знал, куда сложить одежду, когда ступить в ванну, при каком уровне воды ложиться в нее, когда добавят травы и когда смолкнут разговоры других курортников. Он знал, что надо немного посидеть в ванне перед тем, как снова вставать, тщательно вытереться, обильно пить. Все приготовления и всё, что делается потом, служит тому, чтобы подольше побыть в воде. Он садился (всегда в чуть горячую) ванну, Ирина бросала на него насмешливый взгляд, потом доливала ему холодной воды. Он выдавливал воздух из плавок, погружался в воду по подбородок. И пусть теперь к нему приблизится то, что тянулось весь остаток дня откуда-то издалека.

В ванне ему становилось ясно, что красота Лони не из тех, что сразу бросается в глаза. Скорее таинственная, как те речные гальки, которые проявляют свой цвет только в воде. Когда он закрывал глаза, ее рот, нос и глаза складывались в целое лицо. Важно было не только точное положение, но и пространство между ними.

Когда Ирина приходила снова (всегда немного раньше положенного), он отстранял свои мечта-

ния и размышления. Ему требовалось некоторое время, чтобы дать своему телу приказ пошевелиться.

— Ирина, а где здесь берут орехи?

Окно и балконная дверь застыли открытыми. Ферри нагромоздил подушки одна на другую и возлежал, поддерживая туловище в почти вертикальном положении, чтобы желудочные соки не поднимались вверх. Обед оказался обильным, суп и жаркое из фарша, а на десерт пирожные «русский изыск».

Лев поначалу подражал деду, но потом сдвигал свои подушки в ноги. Тело ощущалось таким большим, что не помещалось на матраце.

— А теперь пора?

— Пора для чего?

— Для истории, как ты оказался австрийцем.

Сперва казалось, что Ферри не хотел говорить, но Лев понимал, что тот просто искал правильное начало.

По словам Ферри, он многое пережил. Открыл этот век в качестве австрийца и, хотя географически никуда не перемещался, побывал румыном, потом венгром и в итоге решил, пусть его паспорт теперь снова указывал на него как на румына, он останется австрийцем.

Льву, гражданство которого в паспорте еще ни разу не менялось, это показалось удивительным.

До тысяча девятьсот девятнадцатого года Трансильвания принадлежала, равно как и Марамуреш, к Австро-Венгрии, объяснил Ферри, потом к Королевству Румыния, а двадцать лет спустя к Венгрии, еще через четыре года снова к Румынии. Все это, как мог представить себе Лев, раздражало. Но теперь решение принимал он сам. Почему собственный выбор хуже, чем то, что какие-то люди делали его за тебя в каких-то там столицах?

Лев кивал. Он знал, что именно это от него и ожидалось.

— Но наступит день, — сказал Ферри, — и из-за того, что мы слишком мало старались, или потому, что слишком сильно старались, нас не будет. Мы были взвешены и найдены слишком легкими.

Лев вопросительно посмотрел на деда, но Ферри, казалось, не обращал на него внимания. Он лежал на кровати, подложив под спину подушки, вытянув руки вдоль тела — как фараон, подумал Лев.

— Раду это знает, он уже сейчас говорит с превосходством победителя. Ему придется лишь

подождать, мы уйдем добровольно; как только сможем, мы уйдем, задержки не будет.

Чем был Лев?

Он комнаты, двор, деревенские улицы, долина, холмы, река, паутина, виноградные побеги, травяные дорожки и речная галька. Способ окружать дома верандами; податливость ступеней лестницы, звук переулка, стон реки — все проникало внутрь него, все это было им. И он думал так и осознавал теперь совершенно ясно, потому что впервые это все отсутствовало.

Он ничего не знал об уходе. Только об отсутствии.

В девятнадцать лет Лиз познакомилась с его отцом на уборке урожая. Вдовец искал мать для своих троих детей. Несмотря на сопротивление Ферри и буники, они поженились, и Лев стал их единственным общим ребенком. Лев едва помнил своего отца, тот погиб при оползне в горах, когда Льву было всего пять лет. То немногое, что он еще знал об отце, он старался восстановить в памяти: его руки, запах его серой меховой жилетки, его шаги в прихожей. И иногда, когда Лев входил в дом, ему казалось, что отец ждет там его возвращения.

Мать говорила, что Дорин и Бредика похожи

на отца, такие же зеленые глаза, как у него, его спокойствие и гордость. Она ему рассказывала и о своем покойном свекре. Он понимал, что между ними любовь; и ему было безразлично, что у них разная национальность.

У Льва не было бабушки со стороны матери. Не было дедушки с отцовской стороны.

У него не было отца.

И Ферри отсутствовал так же, как они.

За все эти годы он нечасто наведывался к ним в гости.

После ужина, когда Лев со своим дедом выходил из столовой, кто-то поймал его за руку и отвел в сторону. Он не сразу узнал Ирину без привычного халата.

— Вот, — сказала она и дала ему пакет. — Ты ведь хотел орехов, да?

Вместо ответа он обнял ее.

С пакетом в руке он побежал догонять своего деда.

Лев и Ферри пришли, как раз когда солнце запуталось в ветвях платанов. Оно навесило на ветки жидких апельсинов, залило луга почти горизонтальным светом. Силуэт Лони казался размытым. Свет завладел ею, одновременно поднимались тени, и, пока белочки сбегались и луг не запол-

нился ими, на какой-то момент показалось, будто солнце растворило силуэт Лони, словно ее тело сейчас исчезнет вместе со светом.

Они сели на скамью и стали кормить белочек. Ферри беседовал с Лоней, и даже если Лев предпочел бы остаться с ней наедине, его не огорчало, что дед пришел с ним сюда. Так он мог молча на нее смотреть. Он только удивился, когда Ферри позднее сказал, что в этой женщине таится большая печаль.

Кинотеатр заполнился, красный занавес раздвинулся. Лев смотрел на рыцарей, на облака, перелетных птиц и внимал словам отца, который обещал своему ребенку «юность без старости и жизнь без смерти», чтобы тот перестал плакать. Смотрел, как сын отправился на поиски обещанного, потому что отец не мог сдержать свое слово, но видел только Лоню, сидевшую впереди наискосок от него.

Во время ужина между сестрами произошла ссора, поначалу сдержанная, а потом такая шумная, что соседи по столу не могли ее игнорировать. Сестра Лони кричала, что больше не будет подыгрывать этой таинственности, и вышла из столовой, когда принесли главное блюдо. Лоня продолжала сидеть с подчеркнутым спо-

койствием, не поднимая глаз, даже когда Ферри прикрыл ее руку своей — успокаивая, утешая и одновременно вопрошая. Лев ждал ее на выходе из столовой, но она от него отмахнулась.

Ему, дескать, не понять ее забот.

На экране было изобилие красок, музыки и голосов, но все, что прорывалось ко Льву снаружи, угасало, как горящая спичка, упавшая в воду. Если бы он только знал, чего ей не хватало.

Когда сын достиг царства, не знавшего старости и смерти, и получил три задания, кто-то прокрался на ряд Лони и сел на свободное место рядом с ней. Первым делом надо было найти «колос добра» и «яблоко правды»; они были спрятаны в королевстве *лжи*, а *лжецы* презирали правду. Третье задание состояло в том, чтобы отыскать пропавший ключ от одной книги. Кто его обретет, тот сможет прочитать книгу и остаться в ней. Пока герой проходил испытания, женился на принцессе и даже не замечал, как пробежало время (и как он мог это заметить, если годы для него равнялись дням), Ферри заснул. Лев видел, как голова Лони склонилась к художнику, и он думал, что это, должно быть, ложь, ложь, ложь.

Оставалось еще два дня.

Только два раза встать, позавтракать, принять

ванны.

Начался обратный отсчет, все сжималось, и если вначале время тянулось медленно, теперь оно сокращалось немилосердно. Ферри, казалось, этого не замечал, он ведь мог приехать сюда еще раз. А могли вернуться Лев? И если да, разве потом все окажется таким же, как сейчас? Словно толкнуть дверь в дом, а там все в том же виде, в каком его оставил. Будут ли на месте ярко освещенная столовая, комната на две кровати, зал с ваннами, запах хлорки, аромат трав, Ирина, белочки? То же застольное общество, сходящееся трижды в день? Только пусть художника не будет, его Лев хотел бы устранить. Как он расстанется с Лоней? Что он должен ей сказать? В его воображении они виделись снова и снова год за годом, пока он не узнает, как сказать женщине про свои чувства.

Лев хотел спросить у Лони ее адрес. Ферри сказал ему, что не стоит обманываться: иногда на отдыхе сходишься с кем-то по-дружески очень близко, но это всего лишь эпизод, имеющий финал, он завершается в определенный день. Когда-нибудь, в этом Ферри не сомневался, в жизни Льва появится женщина, которую он не сможет упустить. Та, ради которой не жаль будет ни отваги, ни ожидания, ни времени.

После обеда в плане у Льва значилась прогулка. Он решил в оставшиеся два дня строго придерживаться того, что было у него написано на светло-голубой бумажке, которая, захватанная и помятая, лежала у него в кармане брюк. Дома у него больше не будет ничего такого, и Лев удивлялся, как мало он думал о своей семье, как мало скучал по своей деревне, даже по холмам и горам, которых ему здесь поначалу так не хватало.

Он выбрал дорогу через колоннаду, мимо кафе и бывшей императорской виллы, через парк с его платанами, пока не дошел до здания, в котором была установка для розлива целебной минеральной воды.

Он размышлял, не привезти ли этой воды для матери, но тут же отбросил эту мысль: вкус у минералки отвратительный, он сам глотал ее лишь потому, что не хотел выказать слабость перед Ириной. Позади ограждения он заметил Лоню и Силаса. Они ссорились. То не была словесная перепалка, слова не имели значения, ссорились главным образом их тела. Лоня отвернулась, отдалилась на несколько шагов, снова вернулась. Силас поднял руки, увещевая, успокаивая, потом схватил ее за локоть, а когда она хотела вырваться, не отпускал ее. Лев побежал вдоль

ограждения, стал трясти забор. Прекрати, кричал он; или только думал, что кричит? Ему стало плохо, это вовсе не он искал вход, он заперт, он был тем, кому некуда деться.

Лев нагнулся за камнем, бросил его через ограждение. Оба заметили Льва, отвернулись, он потерял их из виду. Наконец в одном месте забор оказался таким низким, что он смог через него перебраться. Зацепился брюками, упал, почти не заметил, что поранился до крови, снова поднялся на ноги. Добежав до места, где они оба исчезли, он стал звать Лоню по имени. Там было несколько строений, склады с цистернами, вилочный погрузчик, палеты с канистрами, картон. Рабочий в синей спецовке подошел к нему, спросил, что ему здесь надо. Лев, заикаясь, бормотал про парочку, которая ссорилась. Мужчина пребывал в нерешительности, оглядел Льва, его окровавленную ногу. Потом они услышали крик.

Мужчина побежал, Лев бросился за ним, они пробежали между двумя строениями, мимо цистерны, дорога сворачивала направо, рабочий ускорил шаг, потом остановился, так резко, что Лев налетел на него сзади. Они очутились на нескошенном лугу, в который были утоплены несколько круглых бассейнов из бетона. Лужи-

цы воды, рассыпанный мусор, ранняя опавшая листва. Лев хотел выйти из-за спины рабочего, но тот велел ему стоять и не двигаться с места.

— Stai așa, băiete!

Силас сидел, скорчившись перед одной из чаш, в странной позе, лицом к земле. Этого он не хотел.

Рабочий заглянул в чашу бассейна, закрыл обеими руками рот. Лев хотел тоже подойти к краю емкости, но было что-то такое, что его удержало, помешало сдвинуться с места.

Его ноги. Он больше не мог пошевелить ногами.

Один

Renebuëġen,
guldiwerzuëġen,
äm Hemmel äs e selij Mån,
diër de Ren verdreiwe kån[11].

Мягкость. Что-то теплое.

Голоса откуда-то, издалека.

Слабая пульсация во лбу, с булавочную головку.

Свет, косо падающий со стороны.

Это лишь сон?

Шаги приближаются. Песня. Голос как у юной девушки. Но разве это не его мать?

Свет, шорохи, все тонет в нем, помимо его воли, он не может защититься, усталость делает все безразличным, размывает мысли, лица. Снаружи светает.

---

[11] Примечания: 11

Радуга-дуга,
Позолоченная,
В небе есть блаженный муж,
Который может дождь прогнать.

(*Трансильванская детская считалочка; на диалекте района Шесс-бурга.*)

Отец входит в комнату, он в жилетке из серой курчавой ягнячьей шкурки; привычный терпкий запах. Лев пытается подняться, но отец придавливает его к постели, мягко, но определенно. Руки у него теплые.

Лев знал, отец хотел с ним попрощаться. Его охватил необъяснимый страх, он должен встать с постели, одеться, пойти с отцом — когда уж он подрастет достаточно для того, чтобы сопровождать отца? Рубить дрова, сажать деревья, мостить дорожки. Погоди еще годок, сказал тот в ответ на его вопрос. Еще год. А когда год прошел, тот его снова утешал. Все отодвигалось дальше, вместо того чтобы приближаться. Лев хотел ему сказать, что он уже достаточно взрослый, если не сейчас, то на следующий год, но язык застрял у него во рту, сухой и тяжелый.

Он схватил отца за руку.

— Засыпай-ка снова, — сказал тот. — Я скоро вернусь.

Лев кивнул, посмотрел на него. Попытался уместить в свой взгляд все разом. Любовь. Решительность. Тоску. Отец всегда что-нибудь приносил для него и его братьев и сестры, особенные камешки, косточки зверей, корешки. Лев ждал его возвращения, и всякий раз оказывалось

так, будто все было наоборот, будто это отец поджидал его, полный любопытства, кем же Лев стал за это время.

Теперь в комнате была и Лиз.

— Дождь начинается, — сказала она.

Лев все еще удерживал руку отца.

— Лев?

— Хм-м.

— Теперь можешь отпустить.

Слово благодарности

Литературному фонду Германии за щедрую стипендию.

За время тишины и писательства: городу Швебиш-Халль и Государственной академии Комбурга, фонду Отто Уббелоде и объединению «Два ворона», «Литература в Верхнем Гессене».

За первую редактуру и попутный ветер: спасибо Андреасу Тису, Рико Мюллер-Шмитту, Юлии Кнапп, Даниэлю Мойреру, Ренате и Хельмуту Вольф.

За жизненные воспоминания и вдохновение: Марии Кристине Тангорра, Генриху Хальтриху, Гюнтеру Вольфу, Трауте и Зисси Хабихер, Урсуле Штефановичи, Бернду Леглеру, Хартвигу Оксенфельду, а также Бьорну и Флоре Рейнхардтам. Спасибо за ваше доверие!

За пословицы и переводы: доктору Сигриду Хальденвангу, доктору Норине Прокопан, доктору Андрашу Балогу, профессору Хансу-Юргену Шрадеру, Дамаскину Поп-Буйя, Ренате Шмигдалль, Ангелике Мельтцер, Люмините Чиоаба, Василене Беука, Николае Букуричи, Аде Андрее

Зигмонд, Дитеру Давиду и Карине Кореску.

За розыски и советы: Штефании Шваб и Андреасу Хайцлеру с пилорамы, Клаусу Эхле из лесничества Фрайбурга, Мануэлю Капорка из опытного лесничества Баден-Вюртемберга и леснику Софии Капорка.

А также издательству Klett-Cotta Verlag и агентству Copywrite, особенно моему редактору Коринне Крокер и моему агенту Катерине Шефер. Разве без вас состоялся бы мир Льва и Като?

Выходные данные

Айрис Вольф

ПРОБЛЕСКИ

Литературно-художественное издание

Издатель *Дарина Якунина*
Генеральный директор *Олег Филиппов*
Ответственный редактор *Юлия Надпорожская*
Литературный редактор *Евгений Трофимов*
Художественный редактор *Ольга Явич*
Дизайнер *Елена Подушка*
Корректор *Людмила Виноградова*
Верстка *Елены Падалки*

Подписано в печать 03.12.2025.
Формат издания 84×108 $^{1}/_{32}$.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз.
Заказ № 07113/25.

ООО «Поляндрия Ноу Эйдж».
197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, лит. А, офис 422.
www.polyandria.ru, e-mail: noage@polyandria.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А,

www.pareto-print.ru

В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» маркируется знаком

